

**ГЕОРГИЙ
БАЖЕНОВ**

БАБУШКА И
ВНУЧКА

Георгий Баженов
Бабушка и внучка

«Баженов Георгий Викторович»

2008

ББК 84(2РосРус)6

Баженов Г. В.

Бабушка и внучка / Г. В. Баженов — «Баженов Георгий Викторович», 2008

ISBN 978-5-7117-0050-0

Книга Георгия Баженова «Бабушка и внучка» – это прежде всего ответ писателя на то, какие должны быть отношения между младшим и старшим поколениями людей. Главное – любовь, доверие, доброта, сострадание, взаимопонимание, взаимопроникновение в душевное и духовное состояние друг друга, чуткость и искренность. Не теряйте себя, не теряйте друг друга, не теряйте свое счастье – вот лейтмотив проникновенной семейной хроники Георгия Баженова. Читайте и наслаждайтесь, дорогие друзья.

ББК 84(2РосРус)6

ISBN 978-5-7117-0050-0

© Баженов Г. В., 2008

© Баженов Георгий Викторович, 2008

Содержание

Бабушка и внучка	5
Год первый	5
1. Что хорошо, то хорошо	5
2. Пожалуйста, пойми меня	12
3. Как мы живем	16
4. С тобой неплохо, но...	23
5. Отец и мать	29
Год второй	33
6. Здравствуйте, это я!	33
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Георгий Баженов

Бабушка и внучка. Семейная хроника

Автор благодарит за издание этой книги Международную лигу защиты человеческого достоинства и безопасности

Бабушка и внучка

Памяти Веры Михайловны Абрамовой

Год первый

1. Что хорошо, то хорошо

Запомнились счастливые глаза Людмилы.

Марья Трофимовна как раз склонилась над внучкой, когда Людмила вбежала в комнату.

– Приехали?! – Марья Трофимовна подхватила внучку на руки, чувствуя, как от радости и волнения пересохло в горле. Маринка увидела Людмилу, сморщила личико, заулыбалась, потянулась к ней растопыренными ручонками. Тут в дверях показался Витя с чемоданами в руках, и вся эта картина, как фотография, отпечаталась в сознании Марьи Трофимовны на долгие годы, на всю жизнь.

– Оп-па! – Марья Трофимовна опустила внучку на пол. – Видишь, кто к тебе приехал? Мама с папой! Ну-ка, пошли, пошли...

Маринка сделала неуверенный шаг вперед, покачнулась – влево, вправо, назад, но удержалась, все смотрели на нее, улыбались... Маринка сделала второй шаг, и опять ее повело по сторонам, но и на этот раз она удержалась, вид у нее был напряженно-потешно-счастливый... Потом она словно забыла, что сзади стоит бабушка, она видела теперь только маму и папу, которого еще не знала, не видела ни разу, поэтому она видела все-таки только маму, смотрела на нее и шла к ней.

Смотрела на дочь и Марья Трофимовна, и сердце ее, как никогда до того, было переполнено сладкой болью и радостью за Людмилу. Это была ее дочь, ее кровиночка – совсем еще юная, с большими сияющими глазами девочка-женщина, короткие светлые волосы, чистое лицо, полные губы, огромнейшие глаза... нежно-малиновое укороченное платье с замком от воротника до подола, с небольшим внизу разрезом, в котором смугтели ее по-женски полные ноги. И это было самое сильное впечатление – одновременно детскость и женственность Людмилы.

Маринка сделала еще шаг, еще и даже протянула к маме ручки, в то время как Марья Трофимовна, улыбаясь, говорила ей сзади:

– Ну, скажи: па-па, па-па...

Самое важное, что сейчас происходило, было связано с Витей, с его приездом, которого так все ждали. Витя тоже чувствовал, что он сейчас центр внимания, центр той оси, вокруг которой развертывалась встреча с родными и близкими, и вместе с радостью, волнением испытывал скованность, растерянность. Впрочем, сам того не сознавая, он уже улыбался – слегка потерянной, слегка даже наивной и как будто озадаченной, но вполне счастливой улыбкой, когда Маринка, споткнувшись, вдруг расширила в удивлении и страхе глаза и сказала:

– Ма... па... ма-па...

И тут так все обрадовались, что она сказала сейчас это «па», которому ее долго учили и которое заучивалось ею с трудом, ибо она никак, наверное, не понимала, к кому должно было относиться это «папа».

– Скажи: па-па, па-па... – повторяла сзади Марья Трофимовна.

Маринка оглянулась, наморщила лобик, сказала чисто: «Па-па», шагнула вперед и упала. Но не заплакала, не захныкала, а как-то странно, заливисто рассмеялась.

Людмила быстро и ловко наклонилась, подхватила дочку на руки, целуя ее в пушистые волосики, приговаривая:

– Ах ты моя умница! Упала? Упала, моя маленькая, ушиблась, моя хорошая. Ух мы этому сейчас полу, ух мы этим сейчас досочкам! – ударили нашу Мариночку... какие такие-сякие нехорошие... Вот мы вам как погрозим, вот как погрозим!

Маринке, видно, было щекотно от маминых волос и слишком, наверное, чудесно, счастливо на маминых руках, она смеялась тоненьким писком, как мышонок, и мотала головой из стороны в сторону, и тоже грозила кому-то пальчиком.

– Ну-ка, пойдем к нашему папе... сейчас мы пойдем к папе на ручки. Видишь, какой у нас замечательный папа... родной-родной наш папа... – Людмила передала Маринку Вите, он взял ее неумело и неуверенно, и Маринка тоже как-то странно затихла, насторожилась, хотя и не вырывалась из рук: ее успокаивал ласковый голос матери. Как раз в этот момент с шумом, треском и грохотом в дом начали втаскивать чемоданы, коробки и свертки Глеб с Сережкой.

– Да потише вы! Вот уж, ей-богу, слоны, – улыбалась Марья Трофимовна. – Сережка, слышишь ты или нет? Господи, да откуда это столько? Как хоть вы везли-то, Людмила? На такси из Свердловска?

– Ох, мама, везли-то как! – засмеялась счастливо Людмила. И вдруг она рассмеялась так громко и весело, всплеснув при этом руками, что ясно было, смеется она совсем не из-за этих слов: «Ой, мама, везли-то как!».

И тут все поняли, в чем было дело, Сережка даже подошел и похлопал-погладил Маринку по спине:

– Ну, Мар, молоток! Так его, папашу... с приездом, мол!

Витя в растерянности моргал ресницами и держал Маринку на слегка вытянутых руках. Но было уже поздно – на белой его нейлоновой рубашке поблескивала изумрудно-бронзовая дорожка.

– Снимай, снимай живо! Надо замочить... – Людмила, смеясь, выхватила у него из рук Маринку, в одну секунду сдернула с нее пижамку, как бы заметалась по комнате, а на самом деле удивительно точными и расчетливыми движениями открыла ящик комода, вытащила пеленку, чистые трусики, платице, уложила Маринку на кровать, протерла ее пеленкой, в два приема надела на нее трусики, платье, чмокнула в одну щеку, в другую, подхватила на руки, передала дочку Сереже, забрала у Вити рубашку, которую тот держал уже в руках, выскочила из комнаты, налила в тазик воды – слышно было, как она громыкала за дверью тазом, – и замочила Витину рубашку; с довольным и счастливым видом впорхнула в комнату – улыбающаяся, раскрасневшаяся, такая удивительно свежая, юная, подвижная, вся из света, любви, жизни и радости!

Самое хорошее, что наконец-то исчезла скованность, первые мгновения взаимного вчувствования-всматривания друг в друга... Как раз когда Людмила вернулась в комнату, Марья Трофимовна крепко, как мать сына, обняла Витю и, похлопывая его по спине: «Исхудал, исхудал-то как, Господи... одни ребра остались...» – расцеловала его от сердца. А Людмила прямо с порога бросилась им обоим на шею, повисла на них, поцеловала сначала мать, потом мужа, потом еще раз Марью Трофимовну, потом Витю.

– Ну вот, ну вот, – говорила на это Марья Трофимовна, – меньше Маринки своей. Да ведь задушишь, слышишь?! Ох, уж Господи, рада-то как... ну прямо совсем глупая девчонка...

– Да, да, – отвечала Людмила, – да, да, да...

И Маринка, слыша голос матери, повторяла за ней:

– Да, да, да, да...

– Вы бы на себя со стороны посмотрели, – ухмыльнулся Глеб. – Может, для начала вмазать не мешает?

– А ну, Мар, – сказал Сережка, подходя с Маринкой к буфету, – где тут у этих теток и дядек большая рюмка? Во-о-от она...

– Ну, ну, ладно вам, – махнула рукой Марья Трофимовна. – Без вас знаю. Беги к Серафиме, слышь, Сергей! Скажи: Виктор приехал. И к бабушке с отцом сбегай. Степан, наверно, тоже у них. Только так: одна нога там, другая – здесь...

Через час, не больше, сидели уже за столом гости и гостыи, шел разговор – разбросанный, со смехом, с удивлениями и восклицаниями, с тостами, с обычными: «Нет, ты мне скажи...» – и с обычными же: «А что, и скажу...» – разговор самый пёстрый, гудящий, но так или иначе все прислушивались к Вите и Людмиле, потому что она, уже зная многое от Вити, вдруг начинала подхватывать его рассказ и рассказывала порой даже интересней, чем он, ее Витя.

– Самое смешное, я вижу, он там, за стеклом, и он видит, я здесь, за стеклом, и вот бегаем – он там, а я тут, слезы на глазах, смеемся как дурачки... а что делать, надо ждать, пока через таможенную пройдет. А что потом было! Их оттуда всех выпустили, а мы отсюда к ним бросились, все смеются и плачут, и такое всё, как не знаю что... А помнишь? – повернулась она к Вите, – я так обиделась на тебя, я к тебе, а ты еще к кому-то, я же не знала, что это твои друзья, я думала, это совсем-совсем чужие, а это его друзья, представляете? Я обиделась – прямо не знаю как, стою, на глазах слезы, а он смеется, ты смеешься, а мне обидно, что не только я, значит... И потом он опять что-то мне говорит, говорит, говорит, я, как сумасшедшая, и плачу, и смеюсь, и думаю: какой он у меня весь родной, и вижу, так соскучился, вижу, такой родной... и чужой почему-то – отчего это? – не знаю, не понимаю, а это ведь он из Индии, из такого далека, и так долго всё было – разве это можно? – в общем, не знаю ничего, обняла его, плачу, тушь по лицу течет, и так мне все равно, все равно, что кругом люди и мало ли что подумают, ну пусть... Да ведь и у всех то же самое, разве нет? У всех одно – слезы, смех и как в тумане всё... Витя, помнишь?

– А как у них вот с этим... ну, в общем, как они в смысле буржуазии и капиталистов? Зажали их там или все-таки не очень? А?

Это почему-то очень смешной вопрос, по крайней мере все смеются или понимающе улыбаются, а Витя говорит и путается, начинает говорить об одном и незаметно переходит на другое, и в том, как он рассказывает, видится не только Бомбей сам по себе, или Дели, или Аджанта с Эллой, а еще и Витя с его чувствами, с его мыслями, все это перемешано-перетасовано так, что бог его знает, о чем, по существу, речь, а речь, собственно, о том, что было пережито, и что было увидено, и что ощущалось при этом, и что запомнилось...

– А змеи?

– И змеи, конечно!

– Неужто так и выются?

Тут опять все смеются, и хотя Марья Трофимовна, тоже смеясь, повторяет: «Тише, тише, ребенок...» – никто не может быть тихим, а впрочем, Маринка, разметавшись в своей кровати, спит сладко и спокойно, шум и смех ей не мешают. Витя встает, и вино уже действует, и радость раскованна и очевидна, его слегка покачивает то туда, то сюда, он подходит к кровати, смотрит на дочь и с удивлением думает, что вот эти ручки, это личико, этот румянец на щеках, это все хрупкое, нежное, беззащитное существо – все это его, все это он сам. «Странно, – думает он, – странно...» А Людмила обнимает его сзади и шепчет: «Тебе не верится? Тебе нравится

она, Витя?» И он говорит: «Очень. Только странно...» – «Странно? Странно, что маленькая? Или что?» – «Вообще странно. Непонятно как-то...» – «Знаешь, я когда из роддома пришла, развернули мы ее, она такая страшненькая, мне даже плохо стало, и тоже, помню, мне иногда казалось: неужели это я родила ее? Как странно... А потом все это прошло, и я не могла уже представить, что ее когда-то не было, что я жила без нее...» Людмила наклонилась и поцеловала дочь в лобик – прохладный от выступивших капелек пота, отстранилась, посмотрела на нее и не смогла удержаться, поцеловала во второй раз. Все эти слова, и Людмила, склонившаяся над дочерью, и сама Маринка – все это очень сильно отдалось в сердце Вити.

– Ну, а как там у них вот с этим? – все спрашивал Людин отец. – Вот, скажем, так...

– Да ладно, ладно! – говорили ему.

– Нет, а почему? – упорствовал Степан. – Я тоже... а что?

– Всё бывает, – улыбался Витя, сидя уже за столом рядом с Людой, – однажды, например... Как же его фамилия? А-а, Реутов! Ну да, Реутов из Горького... Он сидел в холле, дома у себя, чувствует, укусил его как будто кто-то, но не обратил внимания. У нас, знаете, в холлах хорошо, прохладно, фен над головой крутится, мягко так шуршит-жужжит, расслабишься, чай там пьешь или фрукты ешь – бананы, манго, да хоть что, мало ли что, а потом смотрит, в дверной щели только хвост мелькнул. Он подумал: кобра, наверное, – подумал: укусила ведь она его, – подумал: «Ну и ну» – и сидит в шоке таком, шок парализующего спокойствия или ледяного безразличия, так его можно назвать, кричит жене: «Нина, – или Вера, не помню уж, как зовут, – кобра меня укусила, беги к врачу!» Ну та бежать...

– Да нет же, нет, – перебила Витю Люда, – она ведь не сразу побежала, она сначала не верила, помнишь, ты рассказывал, она поначалу рассмеялась: «Да если б она укусила, посмотрела б я сейчас на тебя!...»

– А-а, ну да, да, – улыбнулся Витя, и Люда тоже улыбнулась, как бы поощренная Витиной улыбкой. – Она все не верила, – продолжал Витя, – думала, разыгрывает ее, а он в общем-то спокойный был, никак не доходило до него, что это ведь правда – кобра его укусила, и что это ведь тоже правда – завтра к утру спокойненько так может сыграть на тот свет, сидит, улыбается, говорит: «Честное слово, укусила. Ты не смотри, что я такой... Видишь, вот на ноге точка?» Жена смотрит – точка, но мало ли что... а потом чувствует, правда, наверное...

– Так чем дело-то закончилось?

Витя улыбнулся.

– Врач блокаду ему сделала, уколов двенадцать, а он, Реутов, потом всю ночь пил, говорил: «К утру готов буду...» Сутки после этого спал запертво, проснулся – жив, здоров, руки, ноги – все на месте...

– У меня тоже было, – усмехнулся Глеб, – мне один отверткой в бок ткнул, вот настолько вошла, – показал он, – ну, врезал я ему, он вместе с дверцей из кабины вылетел. В КраЗе сидели...

– Тоже вот, – кивнула на сына Марья Трофимовна, – видали героя?!

– Жениться ему надо, – сказала Серафима, сестра Марьи Трофимовны.

– Верно, – поддержал дед.

– В гробу я их всех видел. В белых тапочках. Вот тебе, дед, сколько было, когда ты женился?

– Нет, а вообще, – все спрашивал Степан, – если разобраться... прогулы у них там тоже есть?

– Ладно, ладно! – говорили ему.

– Нет, а почему? – возмущался Степан. – Эх вы, бесстыжие вы рожи... Сережка, любишь экскаватор?

– Молодец, молодец, умеешь пить, – ответил Сережка отцу, усмехнувшись. – Возьми с полки пряник.

– Вот ведь сучьи дети, – по-доброму ухмыльнулся Степан. – Нет, ты скажи, Виктор, как там они живут? Ты прямо говори, не стесняйся...

– Как мне тоже хотелось там побывать! – вздохнула Людмила. – Читаю письма: Бомбей, Индийский океан, Аравийское море, джунгли, слоны, какие-то там святые, йоги и вообще всё ни на что не похоже, а хотелось посмотреть, на что же это все-таки похоже...

– Вот в другой раз вместе и поедете! С Маринкой! Вон она у вас красавица какая, ума-ялась, сладко спит... Может, тоже вырастет и переводчицей будет? Посмотрит разные заморские страны... Есть там чудеса?

– Ты им Расскажи про этот, про «Лабиринт»... – Людмила рассмеялась, взглянув на Витю. – Я в Москве его встретила, мы поехали к его друзьям, он, оказывается, с ними в Индии познакомился, только они раньше уехали отсюда, а потом встречали его в Москве, но я-то не знала этого, злилась сначала, ревновала... Приехали, и вот они говорят, говорят, а потом мы с Витей сели в сторонке, и он мне рассказывает... Там такой вход, как окно, темно, не видно ничего, потом проваливаешься куда-то, а там яма (или пропасть, или вообще как тот свет), – Людмила засмеялась, – не успеешь в себя прийти, вдруг крик, трещотки, бр-р-р... карканье, или стоны, или проклятья; тут свет в глаза яркий, как прожектор, и красный, как кровь, и тут же скелет какой-нибудь, машет руками, хватает тебя, подмигивает, а ты дальше несешься, быстрее, быстрее, чтобы поскорей выбраться, а там вдруг, впереди, голова крокодила. Только ты это сообразил, как вдруг ни света, ни огонька, летишь куда-то, споткнувшись, вдруг мягкое что-то, и свет снова яркий, смотришь – а это пасть крокодила, ты прямо в пасть ему шагаешь, и чувство такое – ну всё, конец, и снова летишь куда-то, растопырив руки и крича произвольно от страха, проклинаясь все на свете, «Лабиринт» этот, который у них как аттракцион, как увеселение, как что-то, от чего такие острые ощущения, что дальше некуда, – в пропасть эту проваливаешься, как в желудок к крокодилу, а там вдруг снова яркий свет, и если б хоть тебя оставили в покое, а то нет – бутофория змей, шипят, извиваются, к рукам тянутся, прикасаются к тебе – ужас! Не знаю, как только Витя пережил это. Ну, и в таком всё духе, а когда выберешься наконец из этого «Лабиринта», то белый свет как рай, как самое прекрасное из чудес... Это в каком месте Бомбея, Витя? Недалеко от вокзала Виктория или около какой-то гостиницы? Я забыла...

– Рядом с рестораном «Волга». Есть там такой – только для русских и только русские блюда. Тишина, прохлада, полумрак. Московский борщ или там котлеты по-волжски, что хочешь, чего только душа пожелает. Очень странное ощущение... Выходишь, а к тебе со всех сторон фарцовщики, бог их знает, как они у них называются, у нас – фарцовщики: «Мистер, доллары?», «Мистер, фунты?». Пошлешь их к чертовой матери, идешь и ловишь себя на ощущении: не верится, что это именно ты сейчас в Бомбее – как это, почему? – странно, странно. Разве бы подумал когда-нибудь, что такое возможно на самом деле; вот Аравийское море, вон там Висячие сады, вот здесь океанский аквариум, вот кинотеатр – фильмы-ужасы, боевики, ковбойские вестерны, вот парк – катайся на слоне, на верблюде, вон там Ворота Индии, подходишь – сидит человек, дудочка у него, музыка – две-три ноты, и вот уже кобра выползла, голова шевелится, шипит, толпа и ты бросаешь копейки-пайсы... разве не странно? Так я и не привык к ощущению, что это все реально, а не в сказке...

Проснулась Маринка; не заплакала, а уселась в кровати, взявшись ручками за стойки, и начала смотреть на всех округло-удивленными, большими, как у Людмилы, глазами.

– В мать, – сказал дед, горделиво усмехнувшись.

Встал Сережа, подошел к Маринке:

– Проснулся, Мар?

Она кивнула, получилось как у взрослой – с достоинством, со значением.

– Ну, пошли наши дела делать. Оп-па! – Сережа вынес Маринку из комнаты, за дверью звякнула крышка горшка.

– Ну а вот... – Степан выставил вперед руку и, растопырив пальцы, покрутил ладонью туда-сюда. – Чтобы, значит...

– А Сережа-то, ну молодец! – сказала Серафима. – И хоть бы бровью повел.

– Любовь у них, – засмеялась Марья Трофимовна.

Сережа вошел, – ему исполнилось в этом году четырнадцать, а Глеб, старший, год назад из армии вернулся, – одел Маринку, заправил ее постельку.

– Ну, мы прошвырнемся... Вперед, Мар!

– Сережка, слышь... экскаватор любишь?

– Любишь, любишь, – небрежно ответил он отцу. – Пока!

– А в самом деле, – спросила Серафима, – неужели у них это... а?

– У них так, – сказал Витя, – придут в гостиницу и спрашивают: блэк о уайт?

– Чего это – блэк о уайт?

– Ну, черную или белую?

– Чего?

– Фу-ты, Господи! – набросилась на Степана Серафима. – Шевелить надо мозгами...

– Во дают! – наконец криво-восхищенно усмехнулся Степан. – Вот где бесстыжие рожи.

Ну и рожи...

– Такова она, капиталистическая система буржуазного Запада, – уверенно сказал Петрович, муж Серафимы.

– Баловство, – махнул рукой дед.

– В Ленинграде вот тоже, – вставил Глеб, – девочки – закачаешься. У нас там регата была, в гостиницу прихожу, в отель такой – шик-блеск, а там финночка сидит...

– Женить его надо, Маш, – сказала Серафима.

– Спрашиваешь! – усмехнулся Глеб.

– Нет, Глебка, ты когда в самом деле жениться собираешься? Ну вот смотри... – Серафима приготовилась загибать пальцы.

– Теть Серафим, ты скажи, глупый умного научит? – усмехнулся Глеб.

– Поговори вот с ним...

– Спрашиваешь!

– Из армии пришел, его как муха укусила, – пожаловалась Мария Трофимовна. – Как будто бес какой в него вселился.

– Вить, выручай! – взмолился Глеб. – Сам знаешь, слаб здоровьем... Бывал там на свадьбах?

– Вишь, а все-таки интересуется! – обрадовалась Серафима. – Ну-ну, Вить, расскажи, может, ему, лоботрясу этакому, в Индию надо съездить, чтоб на индианке какой жениться... а что?

Да, сказал Витя, бывал он там и на свадьбах, и похороны видел, и всякие обряды, и все это не то что скучно, если о свадьбах говорить, а как-то не отдается в душе, не по-нашему, не по-русски. Пришли они, а там в огромной такой комнате вдоль стен то ли лавочки, то ли кушетки, то ли еще что в таком духе. Сели, сидят... и все сидят, ждут своей очереди, и вот одни встают, подходят к жениху и невесте и слова говорят, поздравляют, те слушают, вежливо так улыбаются, одни поздравят – и в сторону, другие встают, и так все это идет, как волна, ну и подарки, конечно, тоже дарят, свертки разные.

Что они сами подарили? – так... что же, в самом деле? – а-а... фотоаппарат советский, фотоаппараты наши у них здорово ценятся, такое что-то мы им сказали: мол, пусть он, фотоаппарат этот, будет зеркалом вашей счастливой жизни. «Let it be a mirror of your happy life», – сказали мы. Они так обрадовались все, не только жених и невеста, а и гости, понравилось им это, про зеркало-то, ну а потом все садятся за столы и начинают есть – закуски и второе какое-нибудь, рис, например, мясо, зелень, пряности, овощи, а пить у них – ни-ни, сухой закон в

Махараштре, штат такой, совсем не пьют. Едят-едят, тихо так, чинно, потом фрукты подают, сладости, чай, кофе, под конец встают все, ходят туда-сюда, разговаривают потихоньку, и так идет время, потом одни уйдут, вторые... начинают расходиться, и такая чинность во всем, ритуальность, вежливость, а веселья, а раскованности – ну ни на грош по нашим понятиям, заскучаешь, вспомнишь родину, свое – родное, дорогое...

– Грамм по сто бы надо, – сказал дед. – Индус ты или кто, а что же за свадьба?

– Ну да, ну да, – поддержали все, – правильно!

– В том-то и дело, нельзя, – сказал Витя.

– Ну, вздрогнем! За интернационализм! В международном масштабе! – Глеб поднял рюмку.

– Мы тебе так, Видя, скажем. По-простому, по-нашему, – проговорила Серафима. – Мы тебе очень рады, рады, что ты хоть и студент еще, а уже поработал в Индии. За границей. А теперь, значит, благополучно вернулся. Мы вам с Людой желаем счастья, чтоб все у вас было хорошо. Знаешь ведь, как мы любим Людмилу... – Люда при этих словах благодарно и нежно покраснелась. – Год она прожила без тебя нелегкий, дочь у вас родилась, вот и решай, сладко ли было одной. Береги ее, не обижай. В общем, за твое возвращение! За ваше счастье и любовь!

И это были главные слова, главные чувства, выраженные и сказанные сегодня; а там наступил вечер, и в той пустынности дома, которая ощутилась с уходом родных и гостей, почувствовалась особая прелесть, радость и покой. Маринка, Люда и Витя были на кухне, Маринка сидела в ванне и шлепала ручками по воде, летели брызги, она смеялась, а вскоре уже плакала – жалобно и беспомощно: Людмила намылила ей голову – вспененная, пушистая масса как бы порхала над ванной, Маринка была внутри этой массы, словно игрушка в прозрачном мыльном пузырьке, и светилась оттуда чистым розовым тельцем. Витя подавал Люде то мыло, то губку, то в кувшине горячей или теплой воды, поддерживал Маринку то со спины, то за ручки, когда Людмила обливала ее водой, и в этой механической, казалось бы, работе Витя находил странное удовлетворение – на грани гордости и даже преклонения перед женой, перед дочкой. А когда все закончилось, он с ловкостью, – Людмила в эту секунду благодарно, мягко улыбнулась ему, – подал жене махровое широкое полотенце, Людмила завернула в него Маринку, подхватила ее на руки и понесла в кроватку. Маринка лежала в постельке разморённая, притихшая, покрасневшая, уже в сухом теплом белье, ручки выложив на одеяльце, и еще пыталась что-то бормотать, но глазки сами по себе уже закрывались, закрылись... и она ровно, спокойно задышала во сне.

Людмила повернулась к Вите, подняла к нему руки, обвила его шею, и он тоже потянулся к ней, прикоснулся щекой к ее щеке и сквозь слабое это прикосновение (к вечеру у него была уже щетина) почувствовал такую безмерность родства и нежности к любимой, какую не испытывал к ней даже в первые секунды их встречи в Москве, куда она прилетела специально, чтобы встретить его, где они провели первые часы, и дни, и ночи после столь долгой разлуки... Там были и радость, и упоение, и наслаждение, а сейчас, сию секунду – совсем не то, сейчас – великая признательность, великая благодарность, растворение в чувстве родства с ней... Какая в ней покорность, слабость, незащищенность, усталость, доверчивость, какое ясное ощущение того, что он для нее – единственный, что он – такой долгожданный, такой родной. Она родила ему девочку, дочь, вот только что она искупала ее, и теперь она без сил, теперь может себе позволить быть усталой, покорной, жалующейся ему всей плотью своей, всем существом – только пойми это, только почувствуй. И он понимал, он хорошо чувствовал, и это чувство было совсем не любовью, а сверхлюбовью – не в смысле особенной глубины этого чувства, а в том смысле, что это было нечто сверх чувства любви, над любовью, отдельно от нее, выше ее. «Витя, – говорила она, – Витя...» – «Что, что...» – шептал он нежно-протяжно. «Витя, неужели мы вместе? Неужели это правда? Неужели это не снится, Витя?...» – «Это правда. Правда, любимая. Девочка моя, это правда...» – «Да, да, это правда... – По щеке ее катилась слеза, хотя

сама она улыбалась; у него щемило от этого сердце. – Видишь, какая у нас уже дочь. Как мне было тяжело без тебя, Витя. Как горько...» – «Ну вот я уже и с тобой, видишь, я уже с вами. Я с тобой...» – «Это так хорошо. Как хорошо, что ты с нами. Наконец-то, Господи. Как хорошо...»

2. Пожалуйста, пойми меня

В больницу Марья Трофимовна шла медленно, по осенней аллее, удивляясь сегодняшнему теплу, солнцу, дымчатой прозрачности воздуха, веселому, словно весеннему, щебету птиц. И откуда-то издали-издалека всплыло то ли воспоминание, то ли наваждение, что был когда-то вот такой вечер, вот такое тепло, солнце, осень, запах увядающих листьев и кто-то – кто же? – как будто говорил ей: «Маша, Маша, Маша...» Было ли все это? Были ли эти слова на самом деле или это просто казалось, что все вокруг пронизано ее именем? Ах, какие глупости, подумала Марья Трофимовна. Она шла сейчас к Людмиле, был уже четвертый день сегодня. Вот это и есть жизнь. Бедная наша доля, незаметно начала думать Марья Трофимовна. Разве это можно, чтобы у ее дочери, совсем еще девочки, такой глупой, неопытной и беззащитной, были черно-желтые круги под глазами, потрясение в потускневших расширенных зрачках, виноватость в движениях, в разговоре, в жестах? Значит, можно... И в то же время только один вопрос у Люды на уме: «Не пришло ли письмо от Вити?»

Вот и сегодня первый ее вопрос был:

– Нету, мама?

– Я с работы, – ответила Марья Трофимовна. – Утром не было.

Они вышли из больницы; няня, забравшая у Люды больничное белье, спросила на прощанье:

– Ну, ничего хоть? – И вздохнула, прикоснувшись к Людиному плечу.

– Ничего. Спасибо. – Люда улыбнулась благодарно; эти слова и эту улыбку могут понять только женщины.

– Ну и ладно. Ну и хорошо. Уж ты, милая, поберегись в другой раз. Пореже к нам заглядывай...

– Постараюсь, тетя Нюр. Спасибо за все.

Чуть-чуть они прошли, а Люда уже устала; присела на лавочку, под тополями, в больничном саду. Сидишь, смотришь на ветку, видишь желтый лист, вдруг тихий-слабый ветер, лист трепещет, дрожит, что-то в нем случается, какая-то сила не выдерживает, срывается лист с ветки и летит, крутясь и перевертываясь, – то блеснет желтым, то выпестше-зеленым цветом. А с другой ветки еще один лист, а с третьей – еще, и такова вот осень, такова вот жизнь...

– Маринка в ясельках, мама?

– Проснулась сегодня и за свое: ма-ма, папа, ручонки протягивает, соскучилась...

Людмила улыбнулась.

– Собрала ее, подняла на руки, а она меня вот так, вот так – ладошками по щекам хлопает и смеется. «Ну чего, говорю, проказница этакая, бабушку бьешь, бабушку не любишь?» А она, представляешь, говорит, да чисто так: ба-булю-бу, бабушку, мол, люблю. Порадовала меня...

– А она знаешь что на днях мне сказала? – все улыбалась Людмила. – Увидела Ваську, тычет пальчиком и пищит: кош-ш-шка, кош-ш-шка, и так это хорошо у нее «ш» получилось: шшш, шшш. А скажешь ей: скажи «Маринка», она щеки надует, говорит: Ма-зи, Ма-зи, да серьезно так, лобик нахмурит, а тебя смех разбирает. Вот уж смех и горе с ней, честное слово...

Передохнув, Марья Трофимовна с Людой поднялись со скамейки и дальше пошли под руку.

– Собрать-то собрала ее, – продолжала Марья Трофимовна, – уходить уже надо, а Сережа и в ус не дует, спит себе. Говорю Маринке: «Ну-ка, буди своего друга, а то проспит и тебя, и

свою школу». Подходит к нему: та-ва, вставай, мол, дергает за одеяло, ну а он, сама знаешь, рычит только во сне...

Люда рассмеялась.

– Так она что, она взяла карандаш и сует ему в нос: ошш-ка, ошш-ка, та-ва, та-ва. Сережка, вставай, вставай, он тут ка-а-ак чихнет! Маринка от испуга – хлоп на попку, – Марья Трофимовна рассмеялась, – хлоп – и сидит, вращает своими глазищами, понять ничего не может. Сережка проснулся наконец, знаешь ведь, как он с ней: «А-а, вот кто мне спать мешает...» – протянул руку, затащил Маринку к себе на кровать и давай за свое: «Ух я страшный бармалей-бегемот, страшилище-уродище, ух сейчас я эту маленькую девчонку съем-проглочу, ух я ее сейчас ам-ам-ам! – вот так, вот так...» – а сам тискает ее, на руках подбрасывает, тормозит, ну а она уж рада – так прямо и заливается, звенит, как колокольчик... Так и ушла я на работу, не добила от них ничего. Отвел ее, конечно, куда он денется. Но уж нервы потрепать мастак...

Они сели в автобус, хотя идти было совсем недалеко.

– Ты в самом-то деле как, ничего?

– Ничего, мама. Поясница вот только немного...

– Горе ты мое, горюшко... Выпороть бы вас обоих, да уж тебе и так сполна досталось. Разве так можно?

Люда ничего не ответила, да Марья Трофимовна и не ждала ответа, это был не вопрос, а выражение боли и сочувствия.

Как только пришли домой, Люда сразу к почтовому ящику. Пусто. Не было бы рядом мамы, может, и расплакалась бы Людмила, а так лишь прикусила губу и чуть потемнела на лицо. В палате у нее часто спрашивали: «Ну а твой-то где? Почему не приходит?» И что она могла ответить? Чувствовала только, как внутри все сжималось от горячей обиды. Почему в самые важные или горькие минуты Вити нет рядом? То был в Индии, теперь уехал в Москву. Почему он всегда где-то далеко? Почему?

Вечером, когда все уже были дома, а главное – хотя рядом была Маринка, Людмила все равно как бы не замечала никого, не реагировала ни на что, и Марья Трофимовна, как маленькую, как в далеком-далеком детстве, уложила ее в постель, сказала: «Ты ничего, ничего... не думай ни о чем, отдыхай. Сегодня полежишь, завтра, а там и пройдет все...» – А Маринке нарочито-строга погрозила пальцем: «Видишь, мамочка у нас болеет? Нельзя! Нельзя!» – потому что Маринка подходила и все тянула Люду к себе, к своим игрушкам. Маринка хорошо поняла бабушку, таскала по комнате огромного надувного зайца за лапу, усаживала его где-нибудь в углу и грозила ему серьезно пальцем: мама бо-бо, бо-бо!... – и потом еще куда-нибудь тащила, в другой угол или к своей кровати, и опять грозила: бо-бо, бо-бо...

«Никак что-то не пойму, – думала на другой день на работе Марья Трофимовна. – И домой как будто все время рвется, и Люду, кажется, любит, а никак не пойму его... То он мне хорошим кажется, а то как будто чужой. Вернее, непонятный. Есть в нем что-то как будто скрытое, спрятанное что-то внутри, но что? А главное – хорошее ли? А Людмила его любит, мучается. Господи, да еще бы, столько ждала... Два месяца, как из Индии вернулся, и вот опять уехал. Хоть бы скорей утряслось у него там, что ли...»

Марья Трофимовна, сама того не замечая, всегда думала о чем-нибудь постороннем, когда работала на кране; глаза и руки делали свое дело почти машинально, и от этого – скорей всего, от этого – была какая-то особенная точность и расчетливость в движениях, полуавтоматическая игра рычагами и кнопками; маленькая кабинка грейферного крана была ее крепостью и тем особым миром, где она могла позволить себе своеобразный отдых от забот чисто житейских, домашних и где она могла, именно в силу освобожденности от этих забот, задуматься, а вернее – спокойно подумать о жизни. Кран плавно, мягко передвигался по навесным рельсам, внизу, как будто это был бассейн, даже как будто с дорожками на нем, шоколадно светился

прямоугольник отстойника. Сверху это так и казалось – нежный шоколадный цвет, а на самом деле это была обычная, коричнево-ядовитая грязь вперемешку с водой, и даже название специальное есть для этой «шоколадной смеси» – шлам. Здесь, на аглофабрике, готовили шихту для доменной печи, а когда шихтовые бункера промывали водой от известняка, доломита, руды, кокса, весь шлам – вся грязь – собирался в отстойнике; чистить отстойник от шлама и была работа Марьи Трофимовны.

Слишком глубоко задумавшись, Марья Трофимовна на какую-то секунду вышла, как бы выскользнула из точности рабочего ритма, и этой секунды хватило, чтобы ковш вдруг не плавно вошел в шлам, а с огромной высоты, не успев даже раскрыть свои челюсти, плюхнулся в отстойник. Шоколадные брызги раскручивающимся веером-воронкой метнулись в разные стороны, тяжелая коричневая клякса, взлетев вверх, плюхнулась в стекло кабины, Марья Трофимовна растерялась от неожиданной своей оплошности, а выразила свою растерянность очень странно: вдруг ни с того ни с сего усмехнулась.

– Спишь? Спишь там? – закричал снизу Силин.

«Уж тут как тут», – подумала Марья Трофимовна беззлобно, скорее, даже восхищенно – вездесущность Силина всегда поражала ее.

Самое плохое – трос вышел из паза, закрутился на валу, и его заклинило между кожухом и валом. Марья Трофимовна попыталась резкими включениями-выключениями расклинить трос – бесполезно. Она подвела кабину к боковому рельсу, трос с утонувшим в шламе ковшом тянулся следом за кабиной, бороздя отстойник, как бороздит воду какой-нибудь катер; отключила питание и вылезла наружу.

– Ну что? – кричал Силин. – Доигралась? Допрыгалась?

– Чего ты разоряешься? – сказала Марья Трофимовна. – В первый раз, что ли?

– Вот вам всем нет никакого дела! А кому за это отвечать?

– Да ладно тебе...

И потом, когда трос завели уже в паз и грейфер мог снова работать, Силин смотрел на Марью Трофимовну не то жалобными, не то виноватыми глазами.

«Вот еще бедняга. Страдалец», – усмехнулась про себя Марья Трофимовна; усмехнулась она горделиво.

– Знаешь ведь как, – оправдывался он. – Погорячился...

«На других, бывает, кричит – не остановится. А тут – переживает...»

– Может быть, тебе отгул на завтра нужен? – спросил Силин.

– Да зачем отгул-то? – улыбнулась она. – Отгул не нужен.

– Тогда давай за рабочее место, – посуровел Силин. – А то у нас мода заводится: час работаем, два отдыхаем. Аглофабрика, она... знаешь! Аглофабрика – мозг домны.

– Ты давай еще лекцию мне прочитай. О международном положении. О значении металлургии. – «Лучше б вспомнил, как твердил недавно: «Маша, Маша...» – подумала она насмешливо.

– Вот так! – сказал он. – Надо будет – и лекцию прочитаем. Мы, если надо, мы не только лекцию! Мы...

Домой Марья Трофимовна возвращалась не то что в приподнятом, а в несколько тревожном состоянии. И главное опять – казалось бы, ни с того ни с сего, в полном несоответствии с ее внутренними переживаниями, – всплывали в сознании забытые слова... Кто же это, когда и где говорил ей: люблю, люблю... А впрочем, если вспомнить получше, то как будто никто никогда и не говорил этих слов... и вообще, если бы кто-нибудь сейчас заглянул ей в душу, не просто уже женщине, а бабушке – бабушке! – то подумал бы, наверное, что она спятила на старости лет с ума. Мало ли что солнце, дымчатый прогретый осенний воздух, синие вечерние тени, яростный щебет птиц, мало ли что бывает на свете... Но ведь было, было в ней все то, что она сейчас чувствовала, а раз так... Может, она все-таки рановато в бабушки записалась?

Может, не все еще в жизни потеряно или, по крайней мере, не только прошлое было с ней, но и будущее?

А ведь правда, были дни, были вот такие дымчатые осенние или летние вечера, а особенно утра, когда они вместе со Степаном шагали на завод, и в том, как они шли, в том, как чувствовала она локтем жгучее тепло Степановой руки, было для нее всегда что-то по-особенному родное, и это пронзительное чувство родства, близости с мужем отдавалось в сердце почти ноюще, так что порой, в иные сладкие, запоминающиеся, казалось, навечно секунды, все существо ее обкатывала горячая волна благодарности Степану, благодарности жизни за переполняющую сердце радость и душевный свет. Немало было радостей в жизни, но вот эти минуты щемящей близости и родства к мужу помнятся ей до сих пор. Да и как иначе, ведь тогда они жили, как бы не зная и не понимая, что такое жизнь один без другого. Она приходила на аглофабрику, устраивалась в кабинке своего грейферного крана и, надолго забываясь в работе, которой отдавала больше чем душу – всю себя без остатка, все-таки обостренно чувствовала, не то что там знала или понимала, а именно чувствовала, что Степан где-то рядом, близко, где-то внизу, на конвейере, либо в насосной, или в диспетчерской, но главное – здесь, поблизости, рядом с ней, и это всегда было очень важное чувство для нее, чувство почти бессознательное, не вполне осознанное, а просто как бы растворенное во всем ее существе. Что бы ни случилось, какая бы беда ни пришла, Степан первым оказывался на месте аварии, он был не просто первоклассным механиком, он жить не мог без механизмов, без того, чтобы под его руками что-то не двигалось, не крутилось, не скрежетало, не набирало ход, не оживало. В этом для него была какая-то особая сладость, особая необходимость. И тогда, в те лучшие годы их жизни, они еще не совсем понимали, почему так хорошо им бывает не только когда они вместе, но и когда они каждый сам по себе занимаются своим делом, – а было это как раз оттого, что они хоть и в разных местах, на разной работе, но неудержимо тянулись друг к другу, чувствовали и знали, что самый близкий и родной человек – всегда рядом. И дело ведь не только в том, что они работали на одной аглофабрике, вместе обедали в заводской столовой, вместе приходили и уходили с работы, нет, не в этом, а в том, что тогда для каждого из них – и для нее, и для Степана – завод значил слишком многое, – если и не вся жизнь была в нем, то уж во всяком случае ничему другому не отдавали они столько сил, любви и энергии, сколько фабрике: а ведь давно народ верит, куда вкладываешь и тратишь себя, то и любишь всей душой, любишь слепо и сильно. Как бы хорошо было, если бы и посейчас работал Степан на заводе!

Когда Марья Трофимовна пришла домой, в комнатах ее поразила чистота и особенная прибранность во всем; собственно, у них всегда поддерживался порядок, но сейчас все просто сверкало и блестело от чистоты. «Вот так Людмила, – невольно подумала Марья Трофимовна. – Молодец. Но как же? Откуда силы взялись? Видно, на поправку пошло...» Но проходило время, а дома все так никого и не было. «Может, у Серафимы они?»

– У вас, что ли, моя шатия-братия? – спросила Марья Трофимовна, придя к сестре.

Из большой комнаты следом за Светланой – дочерью Серафимы – в обнимку с вечным своим зайцем выбежала Маринка.

– А Люда в Свердловск уехала, – сказала Светланка.

– Куда?!

– В город. Прибежала, Маринку оставила нам – и на автобусную остановку.

– Да что случилось-то?

– Письмо от Виктора пришло, – выйдя из кухни с перекинутым через плечо полотенцем, сказала Серафима. – Проходи, чего под порогом стоишь?

– Постой... какое письмо? Ну, письмо... понятно... от Виктора. А зачем в Свердловск?

– Да не поймешь ее, – махнула рукой Серафима. – Знаешь ведь, как пулемет оттараторила: тетя, надо срочно в город, пусть пока Маринка у вас: маме скажете, я поехала, спешу, лечу, а куда, зачем – толком не поймешь... Одно ясно – письмо от Виктора наконец получила...

Вернулась Людмила из города поздно вечером. И давай взахлеб рассказывать.

– Тише, тише, – сказала Марья Трофимовна, – все уже спать легли.

– Мама, – говорила Людмила, – понимаешь, мама, Витя нашел квартиру, пятьдесят рублей в месяц... дорого? Какая разница, деньги пока есть, после Индии... Пишет, приезжай скорей, пишет, маме скажи, Маринка пока с ней побудет, с тобой, мама, а потом мы чуть обживемся, ты работать устроишься, я то есть устроюсь, учиться заочно поступишь, ну, мы Маринку тогда и заберем, а пока... а сейчас... скорей приезжай, жду, жду... Ну, я, конечно, быстрее в Свердловск, билет купила на послезавтра – уже на послезавтра! – купейный, мягкий, других не было, а сейчас...

– Значит, все решено? Вы бы хоть со мной сначала посоветовались...

– Мама, – сказала Людмила, – мама, я знаю... я все-все понимаю... но, мама, пожалуйста, пойми меня... как же мне быть, сколько можно врозь жить? Мама, мы правда, мы устроимся там, а потом Маринку заберем, ты же знаешь, я не могу без нее, без него тоже не могу, мама, пожалуйста, пойми...

– Я-то понимаю. Только легко как-то это у вас получается... Захотели – туда, захотели – сюда.

– Ну, мамочка, ну пойми меня... я все, все, все знаю... Но, пожалуйста, сама подумай, что мне делать? Как быть? Ты же у меня такая умная, ты же самая хорошая, самая добрая...

3. Как мы живем

«Здравствуйте, дорогие наши Мариночка и мама!»

Недавно съездила наконец в Купавну; сначала я одна ездила, потом вместе с Витей. Согласна была на любые условия, но такая уж, видно, я невезучая, опять ничего не вышло. Я не сдержалась на этот раз, расплакалась прямо в кабинете директора фабрики. Но у них правды не добьешься, вот уже действительно – Москва слезам не верит. Только посочувствовал, а потом развел руками: ничего не смогу сделать... А когда приходила к нему в первый раз, выслушал внимательно, спросил: не сбежишь? Что вы, говорю, да буду работать у вас как рабыня, лишь бы только взяли, лишь бы в Москве вместе с Витей. Подписал заявление, сказал: вы у нас идете одна за двоих, потому что замужем, такой порядок – если замужняя, идет вместо двух свободных, не подведете? Ясно, конечно, что я ответила. Говорю: вы еще услышите обо мне, в передовых ходить буду... Во второй раз приехала, пришла в общежитие, кастелянша повертела-повертела в руках заявление (с резолюцией директора), потом паспорт начала рассматривать так, будто я подозрительная какая-нибудь, воровка или разбойница, ткнула пальцем в штамп: ребенок? Да, говорю, дочь. Не пойдет, говорит. Что не пойдет? Ничего не пойдет, отвечает, не вселю. Как это? – удивляюсь. А вот так! – говорит. – Знаю я таких. Прикинутся овечками, вселятся в общежитие, а потом навезут полные комнаты детей, писк, визг – и не выселишь их ни за что; да мало еще этого – начинают комнаты отдельные или даже квартиры – квартиры! – требовать: выселяете из общежития? – давайте комнату, что, мол, мне на улицу, на мороз с ребенком идти? Так что знаем вас как облувленных. Не поселю. Я сначала подумала, она или дура, или ненормальная, ясно ведь в заявлении: принять на фабрику со 2 февраля, предоставить общежитие. Ан нет, это я оказалась дура, а не она. Вернулась к директору, так и так. Он набирает номер: алло, да, я, да, подписал... Что? Куда? В паспортный стол? Сейчас... Набирает еще номер: Степан Емельянович?

Здравствуй... тут тебе звонила кастелянша. так... так... ну ла-а-адно тебе... ну в виде исключения, девчонка-то хорошая, стоит вот сейчас передо мной – в глазах слезы... Что? Степан Емельяныч, ну не знал, не знал... но теперь-то уже принял, заявление подписал. Да брось ты, ну и любите вы канцелярию разводить, да пошли ты ее к черту, эту кастеляншу,

мало ли что ты там ей сказал... На мой приказ ссылается? Гм, приказ... Ну, приказ приказом, но ведь жизнь – штука сложная, всю ее в приказы не запишешь. Что? Не можешь? Даже как другу? Ну и ну... И бросил трубку. У вас разве дочка есть? – спрашивает у меня. Да, отвечаю. Я ведь вам говорила. Видно, пропустил мимо ушей, – говорит. – Я тут сам отдал приказ, чтоб, если у кого дети, не вселять. Потом нам же одна морока: требуют комнаты, квартиры, грозят судом, горкомом, а где их взять, квартиры? Так что лучше не связываться... Вы уж извините, что так получилось. Он развел руками. Попробуйте в другом месте, – может, где и повезет... Только мой вам совет: не говорите, что у вас дочка. Ни за что не возьмут...

Я когда вышла от него, Витя так расстроился... проклинал весь белый свет вместе со всеми этими дикими условностями. Где мы только не были уже – и все впустую. Казалось: вот наконец-то улыбнулась судьба – приняли, подписали, а потом смотришь: опять двадцать пять...

Мама, я так боюсь, что Маринка отвыкнет от меня! Как хоть она, вспоминает нас? Вспоминает ли меня? Бедная моя девочка, бедная крошка, если б она знала, как мир несправедлив к ней уже сейчас... Но что делать?

Недавно случайно наткнулась на объявление: при Быковском ПОСПО (даже не знаю, что это такое) открываются трехмесячные курсы продавцов, после окончания курсов прописка по лимиту в Московской области. Это где-то рядом с аэропортом Быково. Может, податься в продавцы? Надо будет съездить, попытать счастья. Мало ли, может, там как раз и повезет...

Ты пишешь, мама, Маринка плохо спит по ночам. Наверно, опять аскариды завелись? Ты ведь знаешь, я в свое время замучилась с ними, но потом, с Божьей помощью, избавилась от них. Неужели опять? Господи, и так она у нас худышка, так еще и эта напасть... А может, сейчас уже нормально спит? Ты ей знаешь как на сон делай? Если сказку просит, рассказывай, а сама в руке правую ее ладошку держи. Почему-то она успокаивается от этого, быстро засыпает и спит обычно хорошо. Или ты так и делаешь?

Как в садике у нее дела? Все еще ссорится с О лежкой? Как Сережа с Глебом? Как отец – не пьет? У Глеба наконец появилась какая-нибудь зазноба или все еще один ветер в голове? Скажи ему, вот приеду, накручу ему голову. Сколько девок кругом – одна другой лучше, а он водку знай пьет...

У нас жизнь по-старому. Витя целыми днями учится. Я тоже пытаюсь заниматься – готовлюсь потихоньку; если не раздумаю и не испугаюсь, буду летом поступать на заочное отделение, в какой институт – пока еще не решила, скорей всего в Кооперативный, на товарное отделение. В общем, поживем – увидим...

Мама, тебе, конечно, нелегко сейчас. Да еще мужиков – орава целая: один, может, Сережка только и помогает, а от тех двух как от козла молока... Сережа-то хоть нормально учится? Или так, через пень-колоду? Как у них отношения с его любимым другом Маром? Друзья по гроб? Улыбнулась сейчас, вспомнив все их проказы, ссоры и проделки...

Скоро День Советской Армии. Поздравь, пожалуйста, и от моего имени наших «мужиков», скажи, желаю только одного: чтоб ума у них прибавилось. Ну а Сереже желаю, чтобы удачно закончил третью четверть.

Я здесь присмотрела Маринке весеннее пальтишко, с пояском, сзади – по спинке – выточки, спереди рисунок, двубортное, цвет – красный, ближе к алому. Не знаю – брать, нет? Посоветуй.

Себе купила плащ светло-коричневого цвета. Витя говорит, очень мне идет. Ну, мне и самой нравится, сейчас в Москве такие в моде. Скоро можно будет уже носить – иногда вдруг так резко пахнет весной. Скорей бы действительно весна, тепло... Я так соскучилась по солнцу.

Ну вот и все, пожалуй. Ждем, мама, писем. Крепко целуем».

– Так они и живут. Не сладко, да... Ну а как же, сладко, оно знаешь где... Да-а... А сейчас вот так, ножку одну сюда, а эту сюда... Сейчас мы их нама-а-ажем, разотрем, им у нас тепло-тепло станет... Раскраснеются, разогреются, а потом укроемся, вот так... Видишь, как хорошо... удобно? Удобно, моя маленькая...

– Баба, я большая.

– Большая? Ну, значит, большая, большая-пребольшая-пребольшущая... Вот мама-то не видит, как ты у нас вытянулась, какая ты у нас большая стала. Только вот хворобушка да бабушку не слушаешься...

– Баба, я слушаюсь.

– Вот слушалась бы, так и не болела. На горшочек сядишься, надо ножки в тапочки – и сиди себе... А тебе бабушка сколько раз говорит: Маринка, тапочки, Маринка, ножки, а Маринка и в ус не дует, ножки остудит, а потом кашель, и сопельки, и в ясельки Маринка не ходит, и уколы ей ставят...

– Не хочу уколы...

– Значит, надо бабушку слушаться. Встала с постельки, раз быстро тапочки на ножки, пижама – на плечики, вот и все дела. А то по полу дует, пол холодный, долго ли простуду заработать?

– Я больше не бу-у-уду...

– Ну вот и хорошо. А хныкать не нужно, и плакать не нужно, и никогда-никогда не нужно капризничать. Хорошие девочки и мальчики всегда веселые, всегда здоровые... Вот и Маринка у нас улыбается, она у нас хорошая девочка, послушная. Завтра встанет, и все у нее уже пройдет, правда?

– Да, бабушка.

– Ну вот и молодец. Ночью не распинывайся, одеялом получше закройся и ручки под одеяло прячь.

– Хорошо, бабушка... Баба?

– Что?

– Баба, а дядя Глеб на кухне?

– Да. К нему дяденька с завода пришел, вот как у вас воспитатель есть, так и у него начальник. Главный командир.

– А зачем?

– Что зачем? Пришел-то? Ну, поговорить надо, о делах там разных, обсудить кое-что.

Спи. – Марья Трофимовна чмокнула внучку в лобик.

– Они мешают...

– Ну, ничего, ничего, спи. Я сейчас пойду скажу, чтобы потише. Спокойной ночи! – И, улыбнувшись, добавила скороговоркой: – Спокойной ночи, спать до полночи, перевернуть подушку, выкинуть лягушку.

– Совсем-совсем как мама, – улыбнулась Маринка уже сонно.

– Спи... – «Совсем-совсем как мама, – подумала Марья Трофимовна. – Я и была мама, кто же твою маму научил этому? Эх ты, глупая ты моя, глупенькая...» – Спи, – повторила она и пошла на кухню.

То, что она увидела на кухне, как-то даже не совсем сразу дошло до ее сознания. В одном углу, с ножом в руке, стоял Василий Кузьмич, в другом – Глеб.

– Да вы что тут? – только и выдохнула Марья Трофимовна.

– Иди, иди, иди... – говорил Глеб Василию Кузьмичу каким-то странно-ласковым, тихо-обещающим голосом. – Иди сюда, Васенька... Ну что же ты? Но смотри! Смотри, я шутить не умею, ты меня знаешь... Идешь? Ну иди, правильно, иди сюда...

– Глеб! – вырвалось у Марьи Трофимовны.

– Спрашиваешь! – леденяще усмехнулся Глеб. Он стоял, широко расставив ноги, слегка вытянув руки вперед, и делал ими как бы нащупывающие движения, и был напряжен, как струна. – Та-ак... еще немного... иди, иди, я тебя здесь встречу, иди, Вася... Но смотри!

– Убью.

– Правда? А ну иди сюда, так... так... И-и-опп! – В тот момент, когда Василий заносил уже руку, Глеб резко шагнул вперед – сделал как бы молниеносный выпад – и страшным ударом кулака выбил у Василия нож из руки. Василий растерянно замер. Глеб цепко ухватил его запястье мощной клешней. – Ну?! Что с тобой сделать? Может, воткнуть перышко?

– Твоя взяла.

Глеб небрежно, но с силой пихнул Василия, тот плюхнулся на стул, голова его странно-безжизненно свесилась, и он тут же уснул.

– Охламон! – Глеб брезгливо отряхнул руки. – Знать надо, пацан, с кем связываешься!

– И это у вас мастер такой?! – побелела от возмущения Марья Трофимовна.

– «Мастер»! – усмехнулся Глеб. – Он такой же мастер, как ты мне – тетя. Охламон он.

– А ты сам что говорил? Вот, мол, мамка, мастер пришел, посмотреть, как тут и чем его подручный дышит...

– Спрашиваешь! Я сказать все могу. А ты уши развесила. Тебе скажешь, так ты разве дашь посидеть культурным людям? Может, надо было сразу тебе выложить: знакомься, Васька-решето, прошу любить и жаловать, убийца. Одного кореша по пьянке в Чусовой утопил, взял и бросил его в реку, а второго за жену прирезал...

– Н-н-ну, Глеб, смотри! Доведут тебя до скамьи твои дружки! Чтоб духу его здесь больше не было!

– Спрашиваешь!

– Я серьезно с тобой говорю! Мне это уже вот так надоело. Водишь всякую шантрапу в дом!

– Ладно, замнем для ясности. Предок где?

– Гляжу я на тебя, ну совсем ты совесть потерял. Какой тебе отец «предок»?

– Не шуми, мамка, – вдруг мягко-лениво сказал Глеб. – Прибереги свои педагогические способности для Маринки. Я уже ученый, ученого учить – только портить.

– Ученый! Надо было в детстве хлестать ремнем побольше, тогда, может, научился бы мозгами шевелить!

– Надо было. А то видишь, какой я вырос – изнеженный, избалованный, только что не кусаюсь. Киселек на водичке.

– Да уж киселек! Ох, зла я на тебя, давненько у меня руки на тебя чешутся.

– Спрашиваешь! Одна муха тоже пробовала слона прихлопнуть...

– Неужели и мать можешь ударить?

– Ма-а-амка-а... – Глеб вдруг нежно обнял мать за плечи. – Ну, я у тебя любимый сын или нелюбимый? Говори: любимый... Ну а если любимый сын хочет выпить, а у мамки в заначке есть самогон... есть? Налей рюмашечку, уважь любимого сына.

– Подъехал... Был любимый, да сплыл.

– Ну кто тебе цветочки вышивал к Восьмому марта? Кто полы помогал мыть? Кто...

– Вспомнил! Это когда было? Когда рак на горе еще не свистел.

– Темнишь, мамка. И зачем только я цветочки тебе вышивал? Не любишь ты быть благодарной...

– Эх, кто бы тебя послушал! Кто бы тебя пристыдил...

– ...«бесстыжая твоя рожа», так? – подхватил Глеб. – Спелись вы, я смотрю, с предком. Кстати, где действительно наш любимый предок?

Марья Трофимовна махнула рукой и поднялась наверх, в свою комнату, присела за стол, перечитала еще раз Людино письмо. «Горе, горе, горюшко...» – вздохнула она и, подперев

лицо руками, долгое время сидела, как будто думая о чем-то, и в то же время если и думала, то непонятно о чем... Как-то жалко ей было всех на свете, а больше других – себя, даже это и не жалость была, а какая-то тяжелая, остро пронзающая и остающаяся на дне души, как осадок, грусть... Она слышала, как во сне чмокала губами Маринка, как иногда вдруг начинала требовательно шептать: «Дай... дай...» – и надо было бы, чувствовала Марья Трофимовна, встать, подойти к внучке, но откуда-то появилась сковывающая тяжесть в руках, в ногах... и так шло время, а Марья Трофимовна не вставала, не двигалась... «Что же это я?» – думала она встревоженно и даже как будто порывалась – внутренне – хотя бы к какому-то действию; но делать ничего не могла, да, пожалуй, и не хотела ничего делать... Лишь только позже, уже чувствуя, что так она может уснуть прямо за столом, она потянулась к бумаге, к чернильнице, обмакнула перо и быстро, довольно легко вывела: *«Здравствуйте, дорогие мои Люда и Витя!»* – но дальше этого предложения сдвинуться не могла. И хоть она думала, что написать надо, ведь они там ждут, Люда волнуется, переживает, трудно было перебороть то ли апатию, то ли усталость, то ли недомогание, что с ней такое было, она не знала, скорее всего – обычная усталость от прошедшего дня, полного забот, волнений, беспокойств, огорчений. А другое что-нибудь было? Радость, удовлетворение, надежда, счастье? Радость? Пожалуй, да; эту радость приносила ей Маринка – просто своим существованием, несмотря на трудности и хлопоты, связанные с ее воспитанием. Удовлетворение? Пожалуй, тоже да; это удовлетворение она находила в работе, работа всегда примиряла ее с жизнью, отвлекала от хаоса и бремени бесконечных дум и забот о доме, о семье. Надежда? Если бы знать точно, на что можно надеяться, она, наверное, могла бы ответить: да; но ведь те надежды, которые вдруг непрошенно-негаданно вселялись в нее, были надеждами скорее чувственными, шли от чувства, от сердца, а это всегда так непонятно, что и не разберешься, на какие такие подарки судьбы можно еще надеяться в жизни. Счастье? Это было самое непонятное для нее: вот и на пятом десятке лет, даже скорее на исходе этого десятка, она никак не могла понять: есть все-таки на свете любовь или нет? Себе она отвечала: нет; так было легче, понятней, но в общем она не знала, не понимала до конца, что это такое – любовь, и два этих понятия – счастье и любовь – были самые для нее загадочные.

Что вот ей думать о своей жизни со Степаном? Были годы – и ведь некороткие годы семейной жизни – жили хороню, душа в душу, Степан брался за любую работу, сгорал во всегдашней своей страсти что-то делать, строить, изменять, улучшать... Может, страсть эта его и сгубила... или не так? Уж больно Степан был неотходчив; если кто обидел его или ему кажется, что обидел, – закусит удила, ни тпру ни ну не хочет знать, поне-е-сся вскачь. А дело обернулось в конце концов куда как непросто. Было это, когда Силин как раз с почками в больнице лежал, больше трех месяцев в стационаре провалялся; мастером вместо него тогда Тимошенков заправлял. Мастер как мастер, особенно сказать нечего, но до Силина ему, конечно, далеко, Силин – это Силин, ему и жизнь не в жизнь, если он не на аглофабрике, если не крутится – не вертится как белка в колесе, не увязнув по горло в делах и заботах. Чем-то они даже схожи со Степаном – вспыхивают одинаково, подвернись только работа; только один как вспыхнул, так и горит, а второй, Степан, хотя и вспыхнет, но, бывает, если что не по нем, рубит сгоряча отказную, выпархивает искорка из души. Это иногда и смешно, а иногда и горько. «Ничего не скажешь, донской казак!» – смеялась временами по-доброму, беззлобно над мужем Марья. Это точно – кровь у Степана горячая, он и в самом деле родом из донских казаков, забросила судьба на уральскую землю, а он вдруг возьми и приживись здесь – Марья приворожила. Одного ему не хватало: на земле, какой бы ни было, приживаться умел, а вот с людьми... Чуть что не по нём – раз-два, только его и видели! Смолodu где только не работал, кем только не перепробовал себя, пока наконец Марья на завод его не привела. Сама-то она без завода уже не могла, без крана своего, без аглофабрики, ну и хотела, чтоб Степан рядом был, чтоб жили одними радостями...

Что подкупало в Степане – так это широта души и любовь к машинам и механизмам. Казалось бы, с его-то кровью куда как естественней животину разную любить, лошадей, ан нет – он любил возиться с механизмами, с двигателями, машинами. Хлебом не корми – дай покопаться внутри двигателя. Ну и что – пошло, конечно, дело: сначала слесарем, потом механиком, потом в старшие выбился, незаменимым человеком стал на фабрике. Кто как, а они с Марьей теперь всегда вместе. Бывало, увидят ее одну, так тут же подначивают: «А Степа-то где? Где оставила? Ой, смотри, девка, смотри-и...» Много смеху было, это уж как всегда: когда счастье рядом – по любому поводу смешинка во рту подтаивает. Незаметно-незаметно, а как-то так получилось, что ни Марья, ни Степан без завода уже себя не представляли. Так, по крайней мере, казалось Марье Трофимовне.

И вот этот случай с Тимошенковым... Степан давно задумал ролики на ленточном конвейере менять, но ему все не давали – не до роликов сейчас, план нужно гнать, домнам агломерат нужен... А тут он возьми и останови сам конвейер, пока то да се, пока выясняли, почему бункера полупустые, почему ленточные не все в ходу, Степан уже свое дело сделал. Да если б сделал – это еще куда ни шло, а то конвейер пустил – сразу несколько подшипников полетело. В спешке проглядел, плохо затянули крепление – ну и результат. Два дня простоял конвейер мертвым скелетом. Тимошенков так орал на Степана – перепонки могли лопнуть слушаючи. Тимошенкова, конечно, можно было понять: начальник аглофабрики изрядно его в кабинете продержал, а что и как он ему говорил – неизвестно, только по набухшим желвакам Тимошенкова и застекленевшему взгляду можно было догадаться – пилюля получилась не с медом. Ну а Степан нет чтоб смолчать или согласиться с Тимошенковым, наоборот – взъярился: мне, мол, начхать на все ваши сводки и планы, давно ролики менять положено, технику, мол, безопасности кто нарушает, а? – ну и то-то...

Степана лишили, конечно, премии квартальной, а он в ответ – заявление об уходе.

Сколько дней билась с ним после Марья Трофимовна! Сколько доказывала! Ничего не помогло. Главное, почему ей было обидно, – не понял он ее. Не хотел понять. Пусть он даже прав был тогда, хотя это еще как сказать, – да в том ли дело, кто прав, кто виноват? Он ведь не от Тимошенкова ушел, он с завода ушел – вот в чем соль-то; не в принципах, не в словах дело, а вот в этом. Столько лет проработали на заводе, столько сил ему отдали, столько души вложили в его налаженный пульс, что можно ли было представить свою жизнь без завода? Это все равно что жизнь свою без молодости представить, отрубить от себя молодые годы. Тут, на взгляд Марьи Трофимовны, такая рана и беда, что вечно кровоточить будет... «Тебе завод мил – ну и пластайся, пока совсем не сожрут. А для меня места хватит, не завалиюсь – рабочие руки везде нужны!» – твердил свое Степан. Для него хорошо было, где справедливость на аптечных весах взвешивалась, а для нее... не то что тут о справедливости речь, просто по ее мерке рабочему человеку там хорошо, где вложен его труд, – это как вторая родина, без боли ее не оставишь, из сердца ее не вырвешь. Начальство – оно сегодня начальство, а завтра, глядишь, над тобой уже новый человек, – в том ли смысл, чтобы кому-то что-то доказывать? Попробуй двадцать с лишним лет проработать в кабинке грейферного крана, где каждый рычажок и тумблер узнают тебя по одному только прикосновению, – тогда поймешь, в чем соль работы, этой второй твоей родины... Нет, она без завода, без аглофабрики свою жизнь не представляла, и это было не какое-то парадно-показное чувство, наоборот, это чувство было глубоко спрятано в ней, она, пожалуй, никому в нем даже и не признавалась, истинная любовь – тайная любовь, ее бережешь в себе и попусту не растрачиваешь. Как так получилось, но она прикипела к месту, у нее и отец всю жизнь в мартене проработал, а дед у Демидова еще металл варил, так что... А Степану, оказалось, было все равно, где работать, – может, тут и кровь сказывалась, что ни говори, а «донской казак»...

Не сразу Марья Трофимовна почувствовала, но все же со временем почувствовала – отношения у них со Степаном осложнились, что ли, или, наоборот, упростились. Раньше и

слов никаких не надо было, варились в одном котле, знали и понимали друг друга с одного взгляда, а теперь она о заводе – Степан хмурится, она о третьем-десятом, он – о пятом-двадцатом, она о бункерах и конвейерах, – он усмешка да ухмылка. Работать Степан устроился на стройку, сначала дежурным слесарем, потом на экскаватор перешел – страсть к машинам взяла свое. И нормально как будто все, а в то же время чувство родства как-то странно, почти неуловимо начало расстраиваться между ними. Самые близкие на свете люди, они вдруг стали не самыми близкими, а просто близкими. Родство не терпит половинчатости, душа вызывает к душе в полную силу. Как тут сказать: что случилось между ними? Трудно сказать. Но близость их истончалась. И жизнь покатила как-то пресно, без той глубокой и чувственной радости, когда, скажем, достаточно было ранним утром вместе пройти на работу, чтоб целый день ощущать в душе свет и счастье...

А потом к тому же начались у Степана дальние командировки – передавал в разных местах опыт передового экскаваторщика. А еще потом... Уж как там произошло, но вдруг почувствовала Марья Трофимовна, что у Степана в командировках, видно, бывали женщины. По глазам ли его виноватым и бегающим поняла это, или по суетливым движениям, или ночью, по обращению с ней, но поняла: не тот что-то Степан, не так любит, не так смотрит, не так дышит даже. А она была брезгливая, тошно и трудно ей стало чувствовать, что Степан хоть и родной, да не тот, что прежде; раньше – весь ее до дна, до глубокого доньшка, каждая кровиночка – близкая и теплая, а теперь... И ничего не смогла Марья Трофимовна поделаться с собой: стала брезговать Степаном: он к ней ночью с любовью – она его гонит. Ну и ругань, конечно; виноват-то виноват, а признать вину не хочет, долго носить в себе вину – это тяжкий, конечно, крест на душу. Но и прощать его – значит потакать, тоже нельзя было. Вот и началось у них: с виду, со стороны-то как будто нормально живут, муж да жена, а она его частенько к себе не допускает. Может, и было бы у них по-иному еще, да она всякий раз чувствовала: как уехал в командировку, так возвращается виноватый. И хотела бы простить, особенно поначалу, но как простишь? Не то страшно, что кошка пакостит, а что пакостить приучается, не отвадишь ее. Разве не прощала она его? Не раз прощала, а он опять за свое. Да, истончалась их близость... Так и пошло у них: то врозь, то вместе, но чаще всего врозь. Иной раз даже думала: не разойтись ли уж? – да все-таки детей вместе наживали, внуки вон даже пошли, оно как будто и смешно на старости лет по судам таскаться, оскорбленную любовь разыгрывать. Это, конечно, так, но все же надежда на нормальную жизнь – эта надежда всегда жила в ней...

Наконец ее сморило совсем, она клюнула носом, и в ту секунду, когда она, вздрогнув, очнулась, она услышала внизу снова шум, и как только осознала это, окончательно проснулась. «Господи, Господи...» – сказала Марья Трофимовна, подошла, разобрала постель, хотела уже лечь, но внизу слишком что-то расшумелись, да и голос Степана был слышен, – видно, вернулся уже со второй, – значит, времени около часа ночи, и она решила спуститься вниз – разогнать «мужиков», как сказала бы Люда.

Степан сидел с Глебом и Василием за столом в грязном промасленном комбинезоне, моргал глазами и, как бы защищаясь, все повторял: «Во дает! Ну ты даешь!» – а увидев жену, вдруг азартно-облегченно оживился.

– Видала? – кивнул он. – Видала, чего хочет? Ну, дает! Ну и бесстыжая рожа!..

– А ты бы поменьше с ним пил, – сказала Марья Трофимовна. – Чего тут расселся?

– Предок, – последний – р-р-раз... – выделяя каждое слово, повторял Глеб. – Ты – меня – 3-3-знаешь...

– Так, – кивал Василий. – Так его...

– Это ты кому, бесстыжая твоя рожа, отцу говоришь?!

– Предок, я повторять не люблю, ты знаешь... Я кому сказал! Живо! – Глеб потянулся к отцу.

От шума проснулась наверху Маринка и жалобно-испуганно заплакала.

– Чтоб вы тут сгорели синим огнем! – плюнула Марья Трофимовна и заторопилась к внучке. – Чтоб языки у вас...

И сквозь ласковое бормотанье, которым она успокаивала наверху Маринку, Марья Трофимовна слышала, как внизу загредел то ли стол, то ли стул, потом что-то упало, и голос: «Предок, чтоб через пять минут бутылка была на столе! Засаекаю по секундомеру. Считаю: раз, два, три...» – «Да где я ее тебе возьму?! Второй час ночи!» – «Я сказал, кажется... три, четыре, пять...» И тут, видно, Степан действительно вышел из дому, потому что вдруг все смолкло, по крайней мере голоса затихли, Маринка успокоилась и вскоре уснула. Еще некоторое время Марья Трофимовна посидела неподвижно около внучки. «Господи, Господи...» А потом повадилась на постель и заснула мертвым, тяжелым сном.

Она не знала, долго ли проспала, но то, что кто-то коснулся ее плеча – грубо, даже больно, она почувствовала сразу же, и странное дело, это ее как будто обожгло, хотя она, как только открыла глаза, сразу поняла – Степан. Она отпихнула его руку, включила ночник и с болью и презрением прошептала:

– Ну черт ты, черт, ну посмотри ты на себя, на кого ты похож! Лезешь в постель – хоть бы комбинезон снял, ведь свиньи хуже, а туда же – на чистые простыни. Ну идолы вы, идолы, Боже ты мой... – Марья Трофимовна достала из шкафа старый тюфяк, фуфайку, потертое одеяло, бросила все в угол: – Иди! Спи в своем логове, черт такой! Есть свое логово – и спи! Нечего в комбинезоне, пьяным в постель лезть! На кого ты только стал похож, эх, Степан, Степан...

– Маша, слышь, Мария... Да я... ты же знаешь... эх, бесстыжие вы все рожи...

– Дадут когда-нибудь поспать в этом доме?! – зло, сквозь слезы закричал со своего дивана Сережка. – То одна плачет, то те орут внизу, то еще один пришел... Сумасшедший дом!

«Сережку жаль... – подумалось Марье Трофимовне, когда она уже снова проваливалась в сон. – Испортится, чего доброго, парень. Жаль Сережку. Надо не упустить...»

4. С тобой неплохо, но...

Казалось бы, какое тебе дело, если встанет конвейер, рвется конвейерная лента, на главном валу летят подшипники, застопорит вдруг дисковый питатель, ослабнет болтовое крепление редуктора, переполнен шихтовый бункер... какое действительно тебе дело, если твоя задача – ворочай рычагами грейфера, очищай отстойник от шлама и грязи, но нет – здесь, на аглофабрике, одно связано с другим, и если где-то прорыв, то и ты в конце концов втягиваешься в лихорадку, и ты чувствуешь – ритм, тот привычный и разумный ритм максимальной отдачи в работе, этот ритм нарушен и сломан, и ты вынуждена стоять, потому что встали вдруг насосы в насосной, отстойник пуст, и видишь – внизу с красными пятнами на лице мечется по участку Силин, то видишь его наверху, на бункерах, то он уже в насосной, машет руками, кричит, то видишь, как он уже на конвейере, тычет в лоб механику: куда смотришь, лопух, ослеп, что ли, – питатель работает, а конвейер стоит?! В общем, знакомая картина, когда уж она начинается... Подгонишь грейфер к антресоли, застопоришь ковш, вылезешь из кабины, а внизу тебя, конечно, поджидает уже Силин, режет себя по горлу рукой: «Выручай, Мария!» Она уже знает, что к чему, не первый год с Силиным работает, идет в диспетчерскую, говорит: «Ну что, девчата, а?» – «Да вот, ленточный порвался, лента старая, сколько раз на оперативке Силина предупреждали: Силин, смотри, Силин, головой отвечаешь, – а у него один ответ: как-нибудь, сейчас другие дела поважней, – вот и дождался». Да, лента порвана, это уже хуже, это значит, звонили от начальника аглофабрики: «Что с конвейером? Как с агломератом?» А начальнику звонили уже с домны: «Какие бункера загружены? какие пустые? на сколько хватит шихты?» – «Волноваться нечего, хватит вам шихты». – «На сколько?» – «А на сколько вам надо?» – «Вы не юлите, здесь не детский сад, здесь производство, черт возьми!»

Любила бывать в диспетчерской Марья Трофимовна. Как нигде на аглофабрике, шумной, пыльной, всегда лихорадящей, здесь, в диспетчерской, у операторов, – такая тишина, чистота, столько света, воздуха, тут ты как будто и не на аглофабрике, а где-нибудь в больнице, в палате... Перед тобой пульт, кнопки, тумблеры, ручки, рычажки, а напротив – огромный стенд-схема аглофабрики, лампочки горят – зеленые, красные, и вся аглофабрика у тебя как на ладони: вот слева склад сырых материалов, вот склад усредненной руды, вот корпус первичного смешивания, сортировка кокса, дробление известняка, вот конвейеры СА-1, СА-2, дальше – СВ-1, СВ-2, еще дальше – А-8, А-12, А-11, А-20, а вот – Ш-10, Ш-11... Она почему-то любила называть их, в этом была своя прелесть.

Скажешь, например: «Внимание, конвейер А-8!» Тебе ответят: «Конвейер А-8 слушает!» Точность, музыка...

Подключился Силин:

– Мария, ты там уже?

«Тебя», – смеются девчата.

– Слушаю! – говорит она в микрофон и подмигивает девчонкам.

– Найди старшего, скажи: сукин ты сын, ты где там пропадаешь, срочно ленту менять на Ш-10!

– Стремоухов! – переключается она. – Стремоухов! – несется по аглофабрике. – Стремоухов!

– Я Стремоухов. – Она видит, лампочка загорается на питающем бункере.

– Ты старший механик или не старший? – спрашивает она строго, подражая Силину и перемигиваясь с девчатами.

– Ну, положим, старший.

– У тебя с лентой на Ш-10 что?!

– Нашла? – включается Силин.

– Нашла. Разговариваю уже. Стремоухов, Стремоухов, на Ш-10 порвана лента. Стоит агломерат. Заменить ленту на ходу сможешь?

– Запасная есть?

– Силин, запасная есть? – переключается она на Силина.

– Он у кого спрашивает, сукин сын? У меня?! Это я должен его спросить!

– Стремоухов, – говорит она, – ты не темни. Есть же у тебя.

– Ну есть. Ладно, выхожу. Передай, сделаем, заведу новую.

– Сейчас заведет новую, – повторяет она Силину.

– Ну то-то... – вздыхает Силин. – Ты как сама-то себя чувствуешь?

– Сама-то? – Она подмигивает Олежкиной матери, та тоже работает здесь, в диспетчерской. Лучшие друзья в садике – О лежка да Маринка. – Ну так а чего? – улыбается она. – Если аглофабрика работает, так ведь... Аглофабрика – мозг домны, сам знаешь!

– Ну-ну, позубоскаль... Вам бы только посмеяться, а кому за участок отвечать? Мне!

– Правильно, товарищ Силин.

Тут была одна странная вещь: Силин, если что случалось, любил посылать в диспетчерскую Марью Трофимовну – так-то ему не совсем удобно было разговаривать с ней, положение вроде не позволяет, да и видят все, а через диспетчерскую – вроде как по делу, вроде даже по важному делу всегда, так уж получалось... Силин, пожалуй, один не догадывался, что все на аглофабрике давным-давно знают, по ком сохнет его душа, потому что неожиданные «командировки» Марьи Трофимовны в диспетчерскую выглядели по меньшей мере странными и вызывали улыбку: в диспетчерской есть операторы, как-нибудь обошлись бы там и без крановщицы...

Марья Трофимовна вернулась на грейфер; насосную уже пустили, отстойник был полон, – работа началась горячая. А работать она любила, – когда отдашься работе полностью,

то даже и то, что наболело глубоко в душе, отступает от тебя. И тут не важно, что кому-то такая работа может показаться бездарной – чего хорошего, чего интересного? – важно отдать ей душу, и тогда душа сама себя вознаградит: отмякнет, отойдет, а то еще бывает, что и совсем хорошо на душе станет – чуть ли не двадцатилетней иной раз почувствуешь себя. Она знала эту способность в себе и ценила ее и любила работать как никто другой. Поэтому, когда в конце смены она увидела внизу Силина, – он стоял, показывая на часы, делал руками жесты: надо, мол, во вторую остаться, – она все поняла сразу же и согласилась с ним легко (а если бы не мысль о Маринке, то, может быть, даже и с радостью).

И она работала – минута за минутой, час за часом, и время шло совершенно незаметно, и когда снова внизу она увидела Силина – опять он показал на часы, она не сразу поняла, что все, конец второй наступил; она улыбнулась и махнула рукой: ну ладно, мол, поняла, поняла...

В бытовой она сняла спецовку, пошла в душевую и долго, с удовольствием мылась; никого еще не было, Силин, видно, показал ей на часы «по дружбе», это бывало, что она уходила со второй на час-два раньше, если работала две смены подряд. Она мылась основательно, горячую водой, раскраснелась, распарилась, поднимала руки вверх, к разбрызгивателю, улыбалась и так стояла подолгу, потихоньку поворачиваясь под душем, чувствуя радость, приятную усталость и покой в душе. Потом, в раздевалке, долго растирала тело полотенцем до сухой, жгучей красноты, а позже, уже одевшись, какое-то время просто сидела, отдыхала. Вдруг подумала, усмехнувшись сама над собой: «Сейчас бы пивка стаканчик! Хорошо бы пивка-то...» Тут она подумала: вот бы кто узнал, о чем она мечтает, Степан, например, или Глеб, уж что-нибудь такое завернули бы обязательно: мол, что, мать и тебя пробрало, не одному слону выпить хочется...

А когда она вышла с фабрики, удивила ее сегодняшняя ночь. Апрель месяц, а такое уже тепло, даже жар, что ли, прогретость какая-то во всем, истома... а вверх, далеко-далеко, и луна, и звезды, и странная, обволакивающая сердце тишина кругом, такое ощущение, что где-то как будто кто-то вздыхает – то ли грустно, то ли устало... Она знала, это у нее сейчас состояние такое, «старушечий романтизм», как она сама говорила, но если она была одна, она никогда не стыдилась своих ощущений, пусть не должна бы она испытывать все это, годы не те, душа не та, но если именно так сейчас, на сердце, то отчего бы не отдаться всему этому? – пускай, пускай... И уж, конечно, несколько не странным показалось ей, хотя это и было странно, когда вдруг из-под тополя, близ проходной, к ней вышел Силин, смущенный и оттого несколько развязный, сказал небрежно так, хотя, наверное, готов был провалиться сквозь землю сейчас:

– Не страшно прекрасной даме одной?

– А чего бояться? – насмешливо ответила она. – Волки все в лесу.

– Ну а все-таки... Волки – в лесу, а разбойники – они всюду... – И по тому, что это был совсем несвойственный Силину тон и слог, было ясно: волнуется он искренне и сильно.

– А может, вы-то как раз и есть разбойник? – продолжала она насмешливо и тоже чувствовала, что, хотя ничего как будто не происходит, волнение невольно захватило и ее.

– Да какой там из меня разбойник! – махнул рукой Силин. – Как бы кто самого...

– Ну а если на прекрасную даму, – посмеиваясь спросила она, – нападут разбойники – защитите?

– Защищу! – вдруг коротко и с жаром выпалил Силин.

– Ишь вы какой, – усмехнулась Марья Трофимовна. – Кто бы мог подумать?

Да, это было удивительно даже для нее – и волнение ее, и слова, которые сами по себе ничего не значили, но за ними стояло нечто, что странно тревожило ее. Он не спросил Марью Трофимовну, можно ли проводить ее или нельзя ли вместе пройти, он просто заговорил с ней, и так получилось, что они шли уже вместе. Они шли, но, сказав то, что уже сказали, теперь не знали, что нужно говорить дальше, то есть она-то могла быть спокойна, ей нечего думать об этом, он – мужчина, он, в конце концов, сам должен подумать об этом, но он молчал, и опять

в какую-то минуту она подумала о нем: «Ох, бедняга ты, бедняга...» – насмешливо подумала, хотя ей было не смешно, скорее даже страшно за него, что может что-нибудь не так сделать и не так сказать...

– Хороший сегодня вечер, – наконец сказал он.

«Ну вот», – невольно подумала она.

– Да, вечер чудесный... – ответила она и почувствовала, что «чудесный» – не ее слово.

– Вот я думаю, – сказал он, – странно как-то...

– Что?

– ...странно, что вот люди могут работать вместе и знают как будто друг друга, а если вдуматься...

– Так и не знают совсем?

– Ну да, не то что даже не знают, знать-то знают, но как бы это...

– Так это все понятно, – сказала она. – Ну а как же? Разве заглянешь, что там у каждого на душе?

– Ну вот мы и пришли, – сказал он. – Я близко от фабрики живу.

Она взглянула – и правда, это дом, где живет Силин. Ну что ж... Он сейчас пойдет к себе, а она – к себе, все понятно, и ничего из того, что как будто было и одновременно не было, ничего этого на самом деле нет.

– Ну, счастливо, – сказала она и протянула ему руку – в первый раз, наверное, что они знали друг друга... И потом, много позже, впрочем, как и сейчас, она так и не могла понять, не понимала, почему – с чего? с какой стати? – вдруг ответила ему:

– Ой, да ведь уже поздно! Разве что на минутку... – когда он неожиданно предложил ей:

– А может, заглянете ко мне? Посмотрите, как я...

Это был и остался один из самых загадочных моментов ее жизни, о котором позже она вспоминала не то что с сожалением или, скажем, со стыдом, – с удивлением, с легким покачиванием головы: ну, мол, и отчаянная была, откуда что взялось...

А он так растерялся, что она согласилась, что даже испугался: не ослышался ли? – потому что был убежден, каков будет ответ, и даже сделал произвольное движение от нее – как бы пошел уже к себе домой.

Но тут же, когда услышал ее слова, спохватился, невольная, радостная улыбка скользнула по его лицу, но он постарался погасить ее, сказал:

– Да ничего, ничего... чего там позднего? Разве ж это поздно? В гости – и поздно...

И когда они поднимались, он – впереди, она – сзади, по лестнице на третий этаж, где он жил, то она ясно чувствовала, как с каждым шагом в ней нарастает волнение. А она уже и забыла, что в ней так сильно может биться сердце, странно ей это было. А он шел и оглядывался, что-то было в его движениях неуверенное и даже – если приглядеться – суетное, как будто он боялся, что она может уйти от него. Но нет, она не собиралась возвращаться, любопытно ведь все это было, да и стыдней гораздо было бы сейчас повернуть назад. Вдруг навстречу, как ни странно было встретить в такой час кого бы то ни было, попала им старушка, подозрительный такой у нее взгляд был, с подвохом, с усмешечкой, она даже приостановилась чуть и проводила их полувзглядом-полукивком, не поймешь, что за движение такое она сделала, и потом спиной Марья Трофимовна чувствовала, как будто кто жег или буравил ее сзади.

«Господи, ну зачем мне все это?» – подумала она вдруг, но продолжала, словно под гипнозом, идти.

Они поднялись на третий этаж, дверь отчего-то не сразу открылась, почему-то замок скрипел, поскрипывал, пощелкивал, но не поддавался, и опять в ней возникло: «Ну зачем мне это?» – но тут дверь наконец открылась, и как только он включил свет и дверь захлопнулась, ей стало легче, свободней.

– Фу... – сказала она. – Высоко же вы живете. – И подумала: «Дура!»

– Да нет, почему высоко? – удивился он искренне. – Третий этаж. Ерунда. Я вот каждое утро – и туда, и сюда... бегаю, чтоб жирком не заплыть.

– Вот как! – сказала она. – Оказывается, вы еще и спортсмен. – И насмешливо посмотрела на него, хотя в ней, как и совсем недавно, не было насмешки над ним, а была защита от собственной робости и скованности.

– А что, правда смешно? – спросил он. – Я, когда утром бегаю, все ловлю на себе такие взгляды.

– А вы не обращайте внимания, – сказала она. – Мало ли...

– Стараюсь... Да вы проходите, чего под порогом стоять? Вот здесь я и живу.

Он включил в большой комнате свет, не общий, «дневной», а торшер, который освещал комнату довольно ярко, но в смягченных тонах, и когда она села в кресло, а рядом с креслом и с двумя другими креслами стоял столик, на столике были разбросаны книги, журналы, стояла пепельница, полная окурков, когда она села, она осмотрела все вокруг внимательно, даже как бы настороженно, и почувствовала, что здесь ничего такого, что могло бы не понравиться, насторожить, оттолкнуть, ничего этого не было. А было ощущение, что вот в такой комнате можно жить спокойно, с полным удовлетворением, с удовольствием, было такое чувство, что покой как бы вливается в тебя, – что-то говорит тебе, что тут можно жить отдохновенно, что жизнь твоя – это не только жизнь для других, но хотя бы чуть-чуть и для самого себя. Она обо всем этом думала, пока он был на кухне и гремел там посудой, слышно было, например, как звякнула ручка чайника, она улыбнулась отчего-то, оттого, может, что это все были домашние звуки. И вообще в какой-то миг странная какая-то волна прокатилась в ней: и страшно, и хорошо, и жутко, и приятно, и все это – словно ты совсем молодая, неопытная, глупая, наивная, никакая не мать, тем более не бабушка, а просто девчонка – девчонка? – вот это-то и было самое удивительное.

– Сейчас мы чайку попьем, – сказал он весело, выходя из кухни. – А что? А почему? Очень даже можем.

Он улыбался, потирая руки, подошел к столику, сдвинул книги в сторону, сбросил их, не задумавшись, в одно из кресел, и в тот момент, когда он делал это, наклонившись над столиком, она увидела, что он ведь совсем лысый с макушки, и ей смешно стало, она рассмеялась, а он спросил: «Что? Что такое?» – и сам тоже рассмеялся.

Она махнула рукой – ничего, мол, это я так, сама не знаю отчего, и он понял так, что ей просто нравится у него или, может, просто успокоилась она, он ведь видел, как она волновалась, переживала, что бог его знает, как он может расценить ее согласие, а он отнесся к этому хоть и с некоторым самоудовлетворением, польщённо, но в общем – трезво, спокойно.

И потом они сидели, пили чай, а к чаю у него оказалось печенье, пирожное, варенье – малиновое, черничное, все это, в общем-то, довольно удивительно для холостяка, каким был Силин.

– Да ведь я был когда-то женат, – сказал он.

– Были? – удивилась она.

– У меня, – сказал он, – была жена, дочь. – Он помолчал. – Они... погибли... во время войны.

– Как во время войны? – удивилась она. – Сколько же вам тогда было лет?

– Да сколько, – горько усмехнулся он, – лет мне было много, восемнадцать было лет, когда ушел на фронт.

– Восемнадцать? – поразила она; поразила скорее не тому, что восемнадцати лет он ушел воевать, а что в восемнадцать лет у него уже была жена, дочь. – Вот никогда бы не подумала...

– Я после первого боя в госпиталь попал. Контузия... Как раз в госпитале письмо получил: накрыло их бомбой. Самое страшное, дочку совсем не помню... как будто и не было ее никогда, страшно это. А жена, Валя... жена до сих пор стоит перед глазами как живая, иногда даже снится, я ей говорю: «Валя, Валя...» – а она вот так вот... рукой машет, до свиданья, мол, прощай... Глаза открою, ничего нет, один...

И вот – почувствовала она – не только хорошо ей показалось здесь... в одном углу три кресла, столик, в другом, смежном, – письменный стол, настольная лампа, разбросанные бумаги, журналы, книги, рядом – кровать темного коричневого дерева, напротив – такого же цвета шкаф с зеркалами, хорошо видно, как они сидят, пьют чай, тени там шевелятся тускло и размыто... и свет такой домашний... – не только это теперь имело для нее значение, а и то еще, что она вдруг всем сердцем своим пожалела его. Столько лет в таком одиночестве, с такой болью, с такими воспоминаниями... а ведь человек, казалось бы, такой невзрачный на вид, рыжеват, лысоват, крупный пористый нос, глаза как бы все время чего-то стыдящиеся, руки нервные, а на работе... Господи, на работе смотрят на него... как бы это сказать помягче... смотрят как на дурачка, как на пришибленного слегка, не понимают, что за радость для него такая – день и ночь на аглофабрике, а для него действительно, может, это радость и есть, успокоение, отдохновение; если ты один и идут годы, то жить с каждым годом сложнее, ты один, а чтобы не быть одному, тебе нужен верный, какой-нибудь удивительно справедливый, удивительно сердечный человек, чтобы без слов понял и разделил с тобой горечь прошедших лет, а таких... где они, такие люди? И такую острую жалость к нему ощутила она вдруг в себе, что испугалась за себя... ей было не восемнадцать все-таки лет, и она знала, что это значит, если в женщине вдруг проснется жалость к мужчине...

– Ох, поздно уже, – сказала она. – Надо домой бежать, как там Маринка у меня... – Она сидела в кресле, а руками делала какие-то суетливые движения: чашку переставила с места на место, пирожное пододвинула к себе и сразу же отодвинула.

И тут он посмотрел ей прямо в глаза, и она не успела избежать его взгляда, а раз так, то тоже посмотрела ему в глаза, и ее не то что поразило, а потрясло, когда она наконец разглядела, какие же у него глаза: глубоко-глубоко умные, грустные, а на дне – боль, но главное – умные. И в ту же секунду она поняла, что ему нужно совсем не то, что нужно было бы любому мужчине от нее в подобной ситуации, что это у него гораздо искренней и сложнее... и внутри у нее все задрожало – от волнения, радости, даже счастья, что ли, – когда она узнала это, узнала, что она внушает этому человеку с умными-умными глазами (вот он говорил: люди могут работать вместе и знают как будто друг друга, а если вдуматься... Теперь она почувствовала, познала его до конца, теперь она могла сказать: я знаю этого человека...) – она внушает ему надежду на возможность собственного счастья, – или она ошибается? Не может быть...

– Паша, – сказала она и не узнала своего голоса. – Паша, – повторила она и взяла его руку в ладони. – Паша, с тобой... неплохо, с тобой хорошо... – Она чуть помедлила. – Ты хороший, Паша... но... мне нужно идти. Мне нужно идти, – повторила она и поднялась с кресла.

Он опустил голову и какое-то время сидел вот так – с опущенной головой, а она стояла рядом, уже отпустив его руку, рука его безвольно лежала на столике, и в этом тоже было что-то такое, что не передашь в словах, что дается только в чувстве – в этом тоже была близость.

– Ну что ж, – сказал он. – Все правильно... Прости.

...Она пришла домой, Маринка спала не в своей кроватке, а вместе с Сережей на диване, Марья Трофимовна под села к ним, в окно была яркая луна, Маринка обняла во сне Сережу рукой, уткнулась носом в его плечо; Марья Трофимовна и не старалась сдерживать слез, это уже ничего не значило – можно ведь улыбаться и сквозь слезы...

5. Отец и мать

Картошку Марья Трофимовна посадить вовремя не сумела – подзапустила домашние дела, на аглофабрике работы было невпроворот. Огород, правда, они с Сережей перекопали давно, сразу после Майских, а вот картошку сажать она вышла в последних числах мая – смех и горе, если сказать кому. Но хоть и смех, а сажать все равно надо. Марья Трофимовна рассыпала семенную отборную картошку в три мешка, вытащила из погреба, очистила тщательно от ростков, разрежала средние клубни пополам, а те, что покрупнее, – на три, на четыре части. Потом лопатой проходила один ряд – засыпала первый ряд, а в следующий из тазика снова укладывала в лунки картошку, ростками вверх. Это была однообразная, но все же хорошая работа – хотя и долгая, утомительная. Хорошо вот еще, помощница какая-никакая, а все-таки уже подросла. Сопя и тужась, Маринка брала из тазика картофелину за картофелиной и «сажала» в лунки – старательно, аккуратно; получалось у нее хорошо, только медленно, и очень быстро она уставала. К тому же перемазалась вся, черная была от земли, как цыганенок. Марья Трофимовна усмехнулась, взяла Маринку под мышки, отнесла к умывальнику, вымыла ее хорошенько, принесла в дом, сменила на ней платице, посадила к игрушкам:

- Играй. Мне некогда.
- Хорошо, баба. Только ты быстрее.
- Ладно. Я быстро постараюсь...

Было воскресенье; мимо огорода по тротуару шли и шли люди – одни празднично одетые, по-воскресному веселые и беззаботные, другие – обычные, как всегда, как изо дня в день.

Но и те и другие невольно обращали на нее внимание, а реагировал на ее работу каждый по-своему; но ей не было сейчас никакого дела ни до кого, Бог со всеми, раз надо, значит надо. С утра наказывала Глебу, чтоб помог, но где там – из-за стола вылез, только его и видели. Яхты, конечно, дело красивое. Посмотреть приятно, как они по воде идут. Но вот чтоб матери помочь, это ему и в голову не приходит. У него один ответ: «Нам лошадь пахать не нужна. У нас мать есть...» – «Сколько же на материной шее сидеть будете?» – «Для матери дети – до старости дитяти. Так?» – «Зубоскальству-то научились. А вот...» – «Спрашиваешь! Кто кого родил: ты меня или я тебя? И потом, мамка, не забывай: мать – это звучит гордо!» – «Вырвать бы вот тебе язык-то...» – «Спрашиваешь!» И вот так всегда – на каждое слово готов ответ, где сядешь, там и слезешь; бог его знает, откуда это все в современной молодежи, вроде парень как парень рос, а вырос – ну вот бы раздавила его иной раз, и сердце не дрогнуло бы. Куда уж дальше? И в то же время любишь его, паразита: есть в нем удалство какое-то, независимость, сила, есть что-то даже привлекательное в его бесстыдно-откровенном цинизме и нахальстве; иной раз даже покажется, что прав он в чем-то: ну вот к чему она гнет всю жизнь спину? Кто оценит? Только посмеются, может... Или вообще никогда не вспомнят. В том и другом – хорошего мало... Был бы вот Степан, тот бы помог, конечно. Степана хлебом не корми – дай поработать: чтоб до пота, до изнеможения. Помнится, он тем ей и понравился: работающий, на отца ее похож; даже больше, пожалуй: в отце любовь к труду размеренная, спокойная, постоянная, а в Степане – неистовая, неистощимая, он уж если в шесть утра начнет работать, то может до ночи спины не разогнуть, и хоть бы хны ему, только улыбается... Марья Трофимовна, смахнув с лица пот, сама сейчас улыбнулась, вспомнив эту удивительную работоспособность и в то же время поразительную неприязнательность мужа. Только бог его знает, что с ним случилось... то ли командировки его испортили, то ли еще что, но поутих Степан в последние годы и начал, кажется, гулять. Откуда, почему? – черт его тоже знает... Полной уверенности, конечно, нет, но сердце чувствует – это правда; болтают иной раз люди за спиной такое, что уши начинают гореть. Не за себя стыдно – за себя больно, стыдно за Степана, что на старости лет говорят о нем, как о молодом кобеле. Ну вот где он болтается который уже день? Которую ночь? Тому, чему она

раньше верила: что работы на стройке по горло, а работают за пятнадцать километров, приходится до ночи на экскаваторе вкалывать, а потом сил возвращаться домой уже нет, и прочая подобная ахинея, – этому всему она уже не верила. Ведь знает, что огород дома не сажень, что трудно ей сейчас – побаливает что-то голова, а все равно не торопится домой. Неужто в самом деле завел кого на стороне? Трудно поверить, а главное – не хочется верить...

– Бог в помощь!

Марья Трофимовна обернулась и, смахивая тыльной стороной руки капельки пота с лица, улыбнулась чистой, искренне радостной улыбкой:

– А, это ты, папа! Здравствуй!

– Открой калитку-то. Чего закрыла? Подошел, туда-сюда, не могу открыть-то...

– Да это я закрыла, чтобы... – Марья Трофимовна бросилась во двор, отперла проворно ворота. – Закрыла, чтобы кто чужой не зашел... Маринка в доме одна, еще напугается.

– Вот коза, не боится уже одна дома сидеть? Молодец... В помощники берешь?

– Да от тебя разве отобьешься? Рада бы сказать – нет, да знаю тебя.

– Ну то-то...

Из всех людей на свете больше других любила Марья Трофимовна своего отца; и совсем не потому, что он – отец, хотя и поэтому, конечно, тоже, а потому – что это был самый человечный, самый справедливый, самый честный, прямой и необыкновенный человек. Было ему за семьдесят; худой, жилистый, крепкий, с умными, глубокими, молодыми какими-то глазами – молодыми, пожалуй, из-за усмешки, которая, казалось, таилась в его пронизательных глазах, – отец был для нее примером во всем. И все лицо его – доброе, родное, чистое, хотя и покрытое сетью морщинок, пергаментно-спокойное лицо мудрого старика – излучало всегда свет и радость для нее. Марье Трофимовне становилось уютней, спокойней, когда рядом был отец, и в то же время ей всегда хотелось, как будто она была еще совсем-совсем маленькой, понравиться отцу, угодить ему чем-нибудь, вызвать к себе ответное чувство любви, которую она с такой силой испытывала к нему. Он все это, казалось, понимал и часто слегка как бы насмешливо-иронично подтрунивал над ней... Это была своеобразная игра, и игра эта нравилась им обоим.

Они прошли на огород, отец взялся за лопату, деловито, размеренно проходил ряд за рядом, а Марья Трофимовна, держа таз на весу, глазками вверх бросала клубни в лунки, и эта совместная, в одном ритме, в постоянном темпе работа была очень им по душе – им всегда нравилось делать что-нибудь вместе, сообща. В детстве, девчонкой, Марья Трофимовна иной раз на сенокосе лезла чуть не под косу отца, так он ее завораживал тугими, хлесткими движениями своей острой сабли-косы, – мягкая, влажно-сочная трава со стоном ложилась под отцовской литовкой, а он уходил все дальше, дальше, и фигура его, уходящая, врезающаяся в море высокой, как лес, луговой травы, навсегда осталась в ее памяти.

Когда отец устал, он останавливался, опирался на косу и, подмигивая, спрашивал: «Ну, чего, Марийка? Косой охота помахать, а?» Марийка кивала, но боялась подойти поближе – отец ругался, если кто лез, как ему казалось, под косу. «Подрастешь малость, попробуешь...» – обещал он, брал Марийку на руки и уносил на копну; посадит наверх, скажет: «Уминай получше. Все помощь...» – и уйдет. А Марийке слезть хочется, но страшно... вот она сидит, сидит, смотрит вокруг и горестно вздыхает...

– Помнишь, как сенокосили, а, пап? – улыбнулась Марья Трофимовна.

– Сенокосили-то? – Отец воткнул лопату в грядку, присел на ведро в борозде, достал махорку. Усмехаясь, свернул «козью ножку». – Ну а как же, помню, как не помнить... – И выпустил густо-сизую струю дыма. – Ведь вот тоже, а? – усмехнулся он. – Что за дело, кажется... А смотри, помнишь. И я вот тоже... Я-то помню еще, как с отцом косили, да и деда помню... У-у, страшнова-а-ат был дед, борода – лопата, пенится, деготь с проседью. Уж мы его боялись!

Бывало, если что, мать грозитя: «А ну как дедулю чичас крикну?!» Мать-то моя, твоя бабка, не «сейчас» говорила, а «чичас»... Да ведь и то, время было какое, древнее было время...

– Да уж ты-то, наверно, не больно боялся, а, пап? – усмехнулась в свою очередь Марья Трофимовна.

– Боялся. Как не бояться, дед был видной. С Демидовыми мужик работал, хватка ихняя была, демидовская... Что не по нём, хребет ломал надвое... Не то что мы, сопливые, и не вспомнишь никого, кто бы не боялся его. Крутого нрава был дед, крутого...

– Пап, я что хотела спросить-то тебя... Вы когда с мамой сошлись, так она...

– «Сошлись»! – усмехнулся отец. – Это по-нонешнему – сошлись, а тогда папаня привел Настёху: вот тебе жена и баба, смотри у меня, сукин сын! – Отец хрипловато, старчески, но весело рассмеялся. – У меня тогда и женилка-то еще не выросла, что к чему – и не кумекал. Папаня из бедных приглядел, чтоб батрачила. Не упомяну вот точно, но как будто лет пятнадцать ей тогда стукнуло. А может, и того не было... Семья-то у папани агромадная народилась, всех обстирать, накормить, напоить – Настёхина забота была. Это уж после революции, ну да, после, отделились мы с ней. А так – батрачка была... Да, была Настёха батрачка...

– Как хоть мама-то себя чувствует?

– Да как... годы здоровья не прибавляют. Зашла бы, попроведовала.

– Сам видишь, пап, запарилась я... В голове от забот звон стоит. Да еще вот огород. Да работа. Да Маринка. Да и те еще лоботрясы.

– Я и говорю, попроведовала бы... Сорок девять годков, как мы с матерью-то прожили...

– Да ты что, пап?! – всплеснула руками Марья Трофимовна. – Господи Боже мой, да как же это я забыла?! Ах ты, Господи, ну совсем из головы вон... Вот дурные мы, вот головы худые... Ну, пап, не знаю, что и сказать...

– Ты руками-то не маши... а то взлетишь еще, – усмехнулся отец. – Давай закругляйся... Пойдем к нам, чаю попьем. Мать-то ждет, пирогов напекла.

– Чего ж ты молчал до сих пор? – заметалась Марья Трофимовна по огороду. – А ведь я все помнила, все помнила, с Серафимой еще договаривались, чтоб устроить вам честь по чести... А тут как раз случай этот... уж тут ни мне, ни Серафиме не вспомнить было... Но уж «золотую» мы вам устроим, такую устроим – тут уж вам не отвертеться.

– Ладно, не кудахчь попусту... Бери Маринку, да пошли. Мать-то заждалась, поди.

Марья Трофимовна быстро умылась, переделась, собрала Маринку, и они втроем выходили уже за ворота, когда примчался откуда-то на велосипеде Сережка.

– А-а, дед! Привет! Привет, Мар! – Он хлопнул ладонью по вытянутой ладошке Маринки. – Как дела, как живете, как животик?! – пощекотал он ее.

– Где ты только носишься?! Сел бы лучше уроки поучил, чем лодыря гонять... Если уж мне не поможешь...

– Отстаешь от жизни, мамка! Учебный год давно закончился!

– Как закончился? – удивилась Марья Трофимовна. – А ведь и правда... С вами все на свете позабудешь, собственное имя – и то вспоминать скоро придется.

– Сергей, – сказал дед, – пошли к нам на пироги. И Глебу передай: дед приглашал.

– Ладно, дед. Только ему это до лампочки, пироги. Сам знаешь. Вот если б ты ведро браги поставил да тазик пельменей, он бы живо. А так...

Дед рассмеялся:

– Там посмотрим. Ну, лихие хлопцы растут – в отца, казаки. Ну и ну...

Мать встретила их у порога.

– Так, а Серафима-то где? Где Серафима-то? – беспокоилась она.

– Да я ж тебе говорил, – сказал дед, – в Челябинск она поехала, повезла Петровича на проверку, чтоб посмотрели, как там у него...

– А-а, ну да, ну да... опять забыла... Ну а ты пошто к нам редко заходишь? – наклонилась она к Маринке. – Говорят, именины недавно справляла?

– Баба Настя, мы шли, шли, шли, – залепетала Маринка, – гости чтоб пришли, а туда пришли, а там... да, бабушка?

– Все поняли?! – рассмеялась Марья Трофимовна. – Ну и ладно... Да, да, да, – ответила она Марине и подхватила ее на руки.

Год второй

6. Здравствуйтесь, это я!

Витю в первую минуту не узнали, а он сказал: «Здравствуйтесь, это я!» – и улыбнулся; только по улыбке и разглядели, что ведь это Витя. Главное, изменила его борода – густая, черная, как у матерого какого-нибудь мужика. Даже и представить странно, что у Вити может быть такая борода. «Ну, светопреставление, – улыбнулась Марья Трофимовна. – Каждый раз какие-нибудь новости...»

Утром, когда Марья Трофимовна уходила на работу, Глеб тащил всех – Витю, Маринку и Сережу – на пруд, и начиналась такая карусель, что к концу дня Витя проваливался в сон, как в бездну. Они приходили на пруд, и Глеба встречали здесь, как встречают короля в законном его царстве. Он был первый в городе яхтсмен, он бывал первым даже в области, – в сумасшествии гонок, в бесшабашности, смелости и азарте не было ему равных. *«В сегодняшних гонках вновь блеснул мастерством наш великолепный Глеб Парамонов. Скорость и еще раз скорость – таков девиз нашего героя. От всего сердца поздравляем Глеба с заслуженной победой. Желаем ему новых блистательных побед. На снимке слева – Глеб после победного заезда. На снимке справа – «Летучий Голландец» Глеба Парамонова». Или: «Вчера в фантастически сложной напряженной борьбе вновь одержал победу на яхте класса «Летучий Голландец» неудержимый Глеб Парамонов. На великолепно трудном развороте парус его яхты положил на воду, но что такое трудности для нашего Глеба? Преодолевать и еще раз преодолевать их – таков девиз нашего героя. Через три секунды «Голландец» Глеба уже мчался к заветной цели и, под аплодисменты зрителей, догнав, а затем и перегнав соперников, Глеб первым вырвался на финишный отрезок. Поздравляем победителя! На снимке слева – верный друг Глеба Парамонова «Летучий Голландец» СТА-6Б, на снимке справа – Глеб вытирает пот с лица после убедительной победы».*

Но и газеты, и сами соревнования, по существу, мало интересовали Глеба. Его любовь к скорости была искренней, а страсть – подлинной. Витя с Маринкой садились где-нибудь посредине, Сережа был за матроса, Глеб брался за руль, и яхта с ярким алым парусом, разметая на своем пути свинцово-тяжелую на вид воду, оставляла позади себя тучи брызг. У Вити было такое ощущение, что из-за ветра, скорости, брызг и невольно глубокого восторга ничего нельзя было разобрать вокруг, и часто казалось, часто мерещилось, что все это должно чем-нибудь закончиться, весь этот восторг, красота, трепет сердца, – катастрофой, гибелью... Он понимал, не сама возможность гибели, – это был бы редко несчастливый случай, – а ощущение возможности гибели, острота этого чувства, вероятно, была необходима Глебу, отвечала тайне его души – жить сверхполной – по ощущениям – жизнью, жить даже на грани катастрофы, а иначе жизнь уже не жизнь, а болото, преснота, муть, пресмыкание. А тут – свобода, а если и гибель – ощущение такое, что гибель возможна, что она рядом, – если и гибель, то в свободе, на свободе, независимо от чего бы то ни было... Так ли это на самом деле? Бог знает, но так Витя думал, думая о Глебе. Сам же Глеб просто упивался стихией скорости, глаза его горели, губы невольно расплывались в несколько даже глуповатой улыбке, а главное, что успел заметить Витя, – лицо Глеба добрело и становилось человечней; в обычной жизни лицо его часто казалось злым, а когда он бывал пьян, это впечатление еще более усиливалось при виде его тонко сжимающихся губ и раздувающихся ноздрей.

Вообще в его облике было что-то ястребиное, хищное, но вот в эти минуты – минуты страсти, скорости, упоения – все отлетало от него как шелуха.

А когда все это кончалось и страсть, удовлетворенная, слегка остывала в Глебе, а у всех остальных появлялась усталость, яхта прибивалась к противоположному берегу... Здесь были лужайки, а чуть дальше – кустарник, а еще дальше – лес, и хорошо было после скорости и безумия полежать на траве, погрызть соломинку, посмотреть на небо, подумать... Или хорошо было побаловаться с Маринкой, защекотать ее, затормозить, пока она не взмолится: «Папа! Папа! Ну папка! Ну папка же!..» За это «же», которое звучало как «жи», он часто называл ее: «Жи-жи» и еще все припоминал ей, как она говорила раньше «Мази». Когда она была совсем маленькая, ее просили: скажи: «Ма-рин-ка», а она говорила: «Ма-зи, Ма-зи...» И вот теперь Витя слегка дразнил ее: «Жи-жи», «Ма-зи...», и ей это казалось почему-то очень смешным, и она заливалась как колокольчик.

– Мар, ну ты перестанешь? – говорил Сережа.

– А тебя не спрашивают, вот ты и не спля-сывай! – отвечала припевом Маринка.

– Научилась бы говорить сначала, – усмехнулся Сережа.

– А вот и умею!

– А вот и не умеешь!

– А вот и неправда!

– А вот и правда!

– А вот и бе-бе-бе! – показывала Маринка язык, и это был ее самый сильный довод, и все смеялись.

Глеб готовил стол, потом все садились вокруг газеты и кто что хотел, тот то и ел, демократия распространялась даже на Маринку: она ела, например, помидоры, огурцы, колбасу, а вот яйца и плавленый сыр ни за какие деньги не уговоришь ее есть. Сережка пил пиво, а Глеб с Витей – пиво и вино. Иногда Глеб брал с собой «девок», как он их называл.

– Перспектива нужна, – говорил он, усмехаясь. – Антураж...

А однажды спросил:

– Хочешь, невесту покажу? Жениться решил...

– Влюбился, что ли?

– Спрашиваешь!

Звали ее Варя, Варюхой называл ее Глеб. Она была совсем девочка, смотрела на Глеба: «Хоть в огонь, хоть в воду – приказывай!» – такое было выражение в ее глазах. Он говорил ей: принеси туфли, – она приносила. Сними с меня пиджак, – снимала. Подай стакан, – подавала.

А если ему ничего не нужно было, он делал жест – и она полностью переключалась на Маринку, которую любила искренне. Она была беззащитна и наивна, и это, видимо, обезоруживало Глеба – он не грубил ей, не оскорблял ее, как делал это с другими, но и не особенно, в общем, церемонился с ней. А Витя смотрел на Варюху и думал – безотчетно – о Люде, о том, что хорошо было бы, если бы сейчас вот здесь, вместе с ними, вместе с Маринкой, сидела Людмила, что-нибудь сказала, улыбнулась, засмеялась, как умеет смеяться только она одна...

Так складывалась жизнь, что опять, в который уже раз, они были не вместе, она осталась в Москве – работать и поступать в институт, а он сразу после сессии – два месяца назад – уехал со студенческим отрядом в Тюменскую область на лесосплав. Теперь, возвращаясь в Москву, на неделю, что осталась до начала учебы, заехал домой.

И в эти дни, в один какой-то момент, ему вдруг странно почудилось, что как бы ни шла здесь жизнь – трудно ли, плохо ли, счастливо или горестно, – она идет и будет идти, независимо от его личного существования, и он почувствовал теперь с особенной остротой горечь тех упреков, которые делала Людмила. Да, это была правда, он не жил той жизнью, которую выбрал себе сам; он сам, а не кто-то иной, женился именно в то время, в какое женился, и это его дочь родилась в то время, в какое должна была родиться, и, значит, – как мужчина и как отец – он должен был иметь все то, что должен был иметь: квартиру, работу, самостоятельность, независимость, – а между тем ничего этого у него не было, а раз не было – то вывод

был один: нельзя было и начинать то, что не под силу и не по плечу. Ибо, начав так, ты уже заведомо переложил часть своей личной, собственной жизни на плечи других, а таких, как ты, если оглянуться, не один, не два, не три, а десятки и сотни. Да, это была правда, он знал ее, но ни изменить, ни начать что-либо по-иному уже нельзя было: жизнь дважды не проживается и не текут реки вспять. Что подкупало в Марье Трофимовне, так это ее удивительное человеколюбие, бескорыстная щедрость души, вот именно – бескорыстие и щедрость души. Русская черта русской женщины. Витя понимал, что сам он – никакой, конечно, не подарок для Марьи Трофимовны, но он глубоко чувствовал ее душу, по-сыновьи любил и жалел ее, и она это понимала, между ними, несмотря ни на что, всегда была какая-то молчаливая договоренность, симпатия и взаимное уважение.

Именно поэтому Витю не то что злило, а часто просто мучило и терзало, когда он видел, как грубо и жестоко обходились с матерью ее собственные сыновья. С Глебом они схватывались из-за этого не на шутку, но Глеб в таких случаях никогда не защищался, а нападал.

– Муха тоже думает, – усмехнулся Глеб, – что тебе приятно, когда на шею садится.

– В мой огород камешек?

– Ну, зачем так глубоко. Я говорю, одна муха...

– И совсем ты не про муху говоришь, – сказала Маринка. – Дядька Глебка какой-то...

– А сопливых не спрашивают. А то они могут по шее заработать.

– Тебе папа задаст тогда!

– А я вам вместе с папой! – усмехнулся Глеб. – Чтоб не обидно было.

– А мы бабушке скажем. Вот так.

– Бабушка у вас тоже... с приветом. Нет, ты думаешь, ты у нас один такой ха-ар-роший-прехороший, мамку ж-жалеешь, понимаешь, слова там ей разные говоришь... а ты бы ей лучше глаза открыл, раз у вас такая любовь. Ты спроси у нее, для кого она старается? Сколько раз я ей вбивал в голову: пускай слон работает, слон большой! А ей что за охота? В пять-шесть встает – несется на работу. Скажут, оставайся во вторую, – пожалуйста! Скажут, работай без отпуска, – работает. Как осел навьюченный – куда б ни погоняли, лишь бы на месте не топтаться. Домой принесется... а здесь кто ее ждет? Предок? Так этот фрайер кадрится на стороне всю... Может, вот этот охламон с пятерками в портфеле? – Глеб дал Сережке подзатыльник. – Как бы не так. Рад бы с пятерками, да в голове – одна, две, три извилины, на них и троек с двойками лишку. Может, я для нее радость огромная? Светлое пятно, так сказать, в личной биографии? Тоже: где сядешь на меня, там и слезешь. Соплюха вот эта? – он кивнул на Маринку. – Это надо посмотреть, как мамка в постель плюхается, – тогда скажешь, какая это радость...

– А вот и радость! Вот так! – сказала Маринка.

– ...если радость, что ж тогда распрекрасный зятек сам ею не займется? Людку в охапку, драпанули в Москву, мы тебя жалеем, мы тебя понимаем, ты у нас хорошая – на тебе Маринку, воспитывай... Тяжело? Трудно? А нам какое дело... у нас московская жизнь, столичные проблемы, педагогическое образование, ум за разум уже заходит, не до того. Ну, а мамка животное бессловесное... тянет лямку. А я этих, которые лямку тянут, не зная для чего, я бы их! – Глеб сжал кулак. – Кто ей спасибо скажет? Может, мы вот с этим охламоном? От нас дождешься! Предок, фрайер, уже отблагодарил – путается направо и налево... Какая от вас будет благодарность, тоже еще надо посмотреть. Да и на работе плевать на нее хотели... лезет везде, на собраниях выступает – а у слона тоже поговорка есть: тихо, муха, не шуми...

– Ну так если ты все это понимаешь, можешь ты к ней хотя бы по-человечески относиться? Ну не хочешь помогать – твое дело, но можно не грубить, не ругаться, не оскорблять. Ведь и Сережка смотрит на тебя, вы ее вдвоем в конце концов так заездите, что...

– Спрашиваешь! Такова жизнь, как говорили древние римляне древним грекам, помогившись на их могилы. А если по-другому, то у французов тоже поговорка есть: если ты слон, то ты не муха. Или, как мне говорил дед: горбатого могила исправит. Сечешь?

– Насчет меня ты, конечно, здорово проехался, тут я тебя поздравляю. Но, с другой стороны, это тоже удар исподтишка. А если я бью в одну цель, то как быть? Куда от себя денешься?

– Смотри не промахнись... стрелок! Стреляешь, так хоть меня не учи. А то, кому не лень, все учат... пересчитать по пальцам? Затянул бы я на них на всех петлю покрепче, да слабоват в коленках. К директору прихожу: не поедешь на регату, говорит, пьешь, хулиганишь, прогуливаешь – не поедешь. Говорю: у льва – когти, у птицы – крылья... Не понял, постучал по столу пальчиком. Я яхту чуть не на горбу в Ленинград пер. Первое место. Руку пожал, правда, а потом... уволил. А куда от меня денешься? Закон на страже моих драгоценных прав. Ладно, другой случай. Подваливает мастер: почему прохлаждаешься в рабочее время? А я руку только что обжег. Я ему говорю вежливо так: пошел вон, сука! Не понял. Взял я его, поднял и хотел в ковш с чугуном кипящим бросить, да тут – Васька-решето подвернулся, ломом по рукам мне долбанул... Ладно, отсидел пятнадцать суток. И вот ты спроси меня: может, я сумасшедший? Может, я не знаю, что засадят меня в конце концов? Ну, вот таких, как я, вроде не должно у нас быть, а я есть... Я тебе скажу – скучно мне, серость одна кругом, не продохнуть от скукоты. Один – жены боится, другой – за жену, третий – начальства, четвертый – собственных мыслей, пятый за копейку дрожит, шестой еще от чего-нибудь и за что-нибудь трясется в своем уголке, – и это люди? Друг на друга похожи, как муравьи. Когда ничего не боишься, зорко начинаешь людей видеть – насквозь. Дела мне не хватает – чтобы в полную правду, в полную силу! А может, что скорей всего, просто подонок я и загнать меня нужно за Можай, да побыстрей. Случай вроде того: спрашивает муха у слона, а слон в ответ – жужжишь, не слышу...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.